



Дэн Симмонс
Друд, или Человек в черном
Серия «The Big Book»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17099757

Дэн Симмонс. Друд, или Человек в черном: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2016
ISBN 978-5-389-11189-9

Аннотация

9 июня 1865 года Чарльз Диккенс, самый знаменитый писатель в мире, путешествуя на поезде со своей тайной любовницей, попадает в железнодорожную катастрофу – и становится совершенно другим человеком. Встретив на месте аварии кошмарного незнакомца, представившегося Эдвином Друдом, Диккенс начинает вести двойную жизнь – посещает трущобы, тайные подземелья и опиумные притоны, интересуется растворением тел в негашеной извести и захоронениями в склепах. Что это – исследовательская работа для его нового романа, «Тайна Эдвина Друда» (который, как мы знаем, окажется последним и не будет закончен), или нечто более зловещее? Именно этими вопросами задается Уилки Коллинз, выступающий у Симмонса повествователем, – создатель «Женщины в белом» и «Лунного камня», прославленный соавтор и соперник прославленного Диккенса, рассказчик увлекающийся, но малонадежный.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	17
Глава 3	27
Глава 4	45
Глава 5	61
Глава 6	74
Глава 7	87
Глава 8	98
Глава 9	105
Глава 10	120
Конец ознакомительного фрагмента.	123

Дэн Симмонс

Друд, или Человек в черном

– Как Уилки дар сгубил свой ненароком?

– Да возомнил себя чуть не пророком.

А. Ч. Суинберн. «Двухнедельное обозрение», ноябрь 1889

Dan Simmons

DROOD

Copyright © 2009 by Dan Simmons

All rights reserved

© М. Куренная, перевод, 2016

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Если какой автор и вызывает у меня восторженную оторопь, так это Дэн Симмонс.

Стивен Кинг

Дэн Симмонс возвышается над современными писателями подобно гиганту.

Линкольн Чайлд

Автор «Террора», самого толстого – и страшного – романа последних лет, пишет следующую книгу таких же размеров, в котором снова вместо выдуманных персонажей настоящие герои из истории. В этот раз – знаменитейшие английские писатели, жившие еще в XIX веке: Чарльз Диккенс и Уилки Коллинз, которые сами, кстати, живо следили за поисками застрявших во льдах кораблей: в книжке есть сцены из спектаклей, которые Диккенс поставил по мотивам этой истории. А соль вся – еще в одном странном персонаже, о реальности существования которого Симмонс и размышляет весь роман: берет героя последней, незаконченной книги Диккенса «Тайна Эдвина Друда», превращает его во всамделишного, но неуловимого человека-гипнотизера-убийцу и заставляет следить за самим Диккенсом.

Афиша

Мастерски соединяя исторический реализм, готический ужас и древнюю мифологию, Симмонс будто идет по тонкому льду; какой-нибудь менее искусный автор на его месте давно провалился бы.

Washington Post

Глава 1

Меня зовут Уилки Коллинз, и я почти уверен – поскольку собираюсь воспретить публикацию данного документа самое малое на век с четвертью, считая со дня моей кончины, – что это имя ничего вам не говорит. Иные полагают меня большим любителем пари, и совершенно справедливо, а потому, дорогой читатель, я готов побиться с вами об заклад, что вы не читали моих романов и пьес, да и не слышали о них. Может статься, вы, британцы или американцы, живущие через сто двадцать пять лет после меня, вообще не говорите по-английски. Возможно, вы одеваетесь как готтентоты, живете в пещерах с газовым освещением, путешествуете на воздушных шарах и свободно общаетесь посредством мысли, не ограниченные никаким устным или письменным языком.

Но даже в таком случае я готов поставить все нынешнее свое состояние и все будущие авторские гонорары со своих пьес и романов на то, что вы *помните* имя, а равно книги, пьесы и персонажи некоего Чарльза Диккенса, моего друга и бывшего соавтора.

Итак, я поведаю правдивую историю о своем друге (или, по крайней мере, о человеке, в прошлом таковым являвшемся) Чарльзе Диккенсе и о железнодорожной катастрофе в Стейплхерсте, лишившей его душевного покоя, здоровья и даже, как шепотом предположат иные, рассудка. Нижеизложенная достоверная история повествует о последних пяти годах жизни Чарльза Диккенса и о его неуклонно возрастающей одержимости неким субъектом (коли здесь применимо такое определение) по имени Друд, а также убийством, смертью, трупами, склепами, месмеризмом, опиумом, призраками и грязными улочками черножелчной лондонской клоаки, которую этот писатель всегда называл «мой Вавилон» или «гигантское пекло». В данной рукописи (ее, повторяю, я решил – не только по причинам юридического свойства, но также из соображений чести – сокрыть от посторонних глаз на сто с лишним лет со времени нашей с ним кончины) я отвечу на вопрос, едва ли приходивший на ум еще кому-либо в наши дни: «Неужели знаменитый Чарльз Диккенс, почтенный господин, приятный во всех отношениях, замышлял убить невинного человека, сжечь тело в негашеной извести и тайно схоронить останки – скелетные кости да череп – в склепе под старинным собором, столь памятным Диккенсу по детским годам? И действительно ли он планировал затем выбросить очки, кольца, галстучные булавки, запонки и карманные часы бедной жертвы в Темзу? И если так или если Диккенс хотя бы *в помыслах* проделывал все описанное выше, то какую роль сыграл вполне реальный фантом по имени Друд в развитии подобного безумия?»

* * *

Упомянутая катастрофа произошла 9 июня 1865 года. Локомотив, везший благополучие, душевный покой, рассудок, рукопись и любовницу Диккенса, приближался – в буквальном смысле слова – к бреши в железнодорожном полотне и ужасному крушению.

Я не знаю, дорогой читатель отдаленного будущего, храните ли вы по-прежнему письменные или устные исторические свидетельства (возможно, вы давно отвергли за ненадобностью Геродота с Фукидидом и постоянно живете в нулевом году), но если в ваше время еще остались хоть какие-то представления об истории, вы должны знать о важных событиях, имевших место в году, который мы называем тысяча восемьсот шестьдесят пятым от Рождества Христова. Такое событие, как окончание братоубийственной войны в Соединенных Штатах, многие англичане признавали весьма знаменательным, хотя Чарльз Диккенс не относился к их числу. Несмотря на свой огромный интерес к Америке – он уже совершил

путешествие по этой стране и написал о ней несколько книг (не вполне лестных, следует заметить), а позже яростно добивался компенсации за незаконное издание своих сочинений в бывших колониях, где творился полный беспорядок в части авторских прав, – Диккенс совершенно не интересовался войной между каким-то далеким Севером и еще более далеким Югом. Но в 1865 году – том самом, когда произошла Стейплхерстская катастрофа, – Чарльз Диккенс имел все основания быть очень довольным своей собственной жизнью.

Он был самым популярным романистом в Англии, если не в мире. Многие англичане и американцы провозглашали моего друга величайшим писателем всех времен и народов после Шекспира, ну и, возможно, Чосера и Китса.

Разумеется, я понимал всю нелепость подобных заявлений, но, как говорится (во всяком случае, как я сказал однажды), популярность порождает популярность. Я видел Чарльза Диккенса со спущенными штанами в деревенском нужнике без двери, когда он хнычущим голосом требовал бумажку, чтобы подтереть задницу, а потому вам придется простить меня, если такой образ останется для меня более достоверным, чем образ «величайшего писателя всех времен и народов».

Но в роковой июньский день шестьдесят пятого Диккенс имел все основания для довольства собой.

Семью годами ранее писатель расстался со своей женой Кэтрин, которая, по всей видимости, за двадцать два года супружества сильно провинилась перед ним, безропотно производя на свет десятерых детей и претерпев несколько выкидышей, но с неизменным смирением снося бесконечные придирки и упреки вечно недовольного мужа и потакая каждой его прихоти. Достойным своим поведением она внушила Диккенсу столь глубокое чувство, что в 1857 году, во время загородной пешей прогулки, после распития нескольких бутылок деревенского вина Диккенс отозвался о своей любимой супруге следующим образом: «Кэтрин очень дорога мне, Уилки, очень дорога. Но умом и статью она чистая корова: никакого обаяния, никакого изящества... пресная алхимическая смесь из рассеянности, непроходимого невежества, неуклюжей тяжеловесной медлительности и самоуспокоенной лени... безвкусная каша-размазня, одобренная разве только острой жалостью к себе».

Вряд ли мой друг запомнил эти свои слова, но я их не забыл.

Формальным поводом для разрыва стала претензия, предъявленная Диккенсу женой. Похоже (хотя предположительная интонация здесь неуместна, ибо он расплачивался за проклятую побрякушку при мне), после премьеры «Замерзшей пучины» Диккенс купил актрисе Эллен Тернан дорогое ожерелье и болван-ювелир доставил украшение не на квартиру мисс Тернан, а в Тэвисток-хаус, лондонский особняк Диккенсов. В результате такой оплошности Кэтрин несколько недель кряду проревела как корова, отказываясь поверить, что это всего лишь невинный знак почтения к актрисе, столь блистательно (хотя, на мой вкус, весьма посредственно) сыгравшей возлюбленную главного героя, Клару Бернем, в нашей... нет, *моей* драме о безответной любви в Арктике.

Надо признать, Диккенс действительно имел обыкновение (как он неустанно объяснял своей глубоко уязвленной супруге в 1858 году) осыпать щедрыми подарками актеров, принимавших участие в любительских спектаклях, которые он ставил в своем домашнем театре. После премьеры «Замерзшей пучины» он уже успел распределить между остальными участниками постановки несколько браслетов и кулонов, карманные часы и набор из трех голубых эмалевых запонок.

Но с другой стороны, во всех остальных он не был влюблен, а в юную Эллен Тернан – был. Я точно знаю. И Кэтрин Диккенс знала. А вот знал ли о своих чувствах сам Чарльз Диккенс, трудно сказать. Великий мастер достоверного вымысла и один из самых отъявленных ханжей на свете, он едва ли осознавал и оценивал подспудные мотивы собственного поведения, если только они не были чисты, как родниковая вода.

В данном случае в ярость впал сам Диккенс – он в два счета обломал жене рога (прошу прощения за невольную отсылку к корове), закатив страшный скандал, в ходе которого вопил дурным голосом, что подобные обвинения бросают тень на чистый, светлый образ Эллен Тернан. Эмоциональные, романтические и, осмелюсь сказать, *эротические* фантазии Диккенса всегда вращались вокруг священной рыцарской любви к некой воображаемой юной богине, чья непорочность не подвергалась ни малейшему сомнению. Но Диккенс, вероятно, запомнил, что злополучная и уже обреченная в семейном плане Кэтрин видела спектакль «Дядюшка Джон», водевиль, поставленный нами сразу после «Замерзшей пучины» (в нашем веке традиция предписывала представлять серьезные пьесы в паре с комедийными). В «Дядюшке Джоне» Диккенс (сорок шесть лет) играл пожилого господина, а Эллен Тернан (восемнадцать лет) выступала в роли его подопечной. Само собой, дядюшка Джон безумно влюбляется в девушку моложе себя в два с лишним раза. Кэтрин наверняка знала, что основную часть драмы «Замерзшая пучина», о поисках пропавшей экспедиции Франклина, написал я, а вот романтический водевиль сочинил и поставил ее муж уже после знакомства с Эллен Тернан.

Дядюшка Джон не только влюбляется в свою юную подопечную, но и преподносит ей – я цитирую авторскую ремарку из пьесы – «восхитительные подарки: жемчужное ожерелье и бриллиантовые серьги».

Оно и неудивительно, что при появлении в Тэвисток-хаусе дорогого украшения, предназначенного для Эллен, Кэтрин вышла из обычной своей дремотной апатии и взревела, как дойная корова под стрекалом уэльского фермера.

Диккенс отреагировал так, как отреагировал бы любой виноватый муж – только муж, которому посчастливилось быть самым популярным писателем в Англии и англоязычном мире, а возможно, и величайшим писателем всех времен и народов.

Первым делом он велел Кэтрин нанести визит Эллен Тернан и ее матери, таким образом показав всем, что она не питает никаких подозрений и ревности. В сущности, Диккенс приказал своей жене публично извиниться перед своей любовницей – или, во всяком случае, перед женщиной, с которой намеревался вступить в любовную связь сразу, как только наберется смелости уладить все необходимые формальности. Несчастная Кэтрин, заливаясь слезами, выполнила требование мужа. Унизив свое достоинство, она нанесла визит Эллен и миссис Тернан.

Но этого оказалось недостаточно, чтобы утолить ярость Диккенса. Он выгнал мать десятирех своих детей из дома.

Чарли, старшего сына, он отправил жить с Кэтрин. Остальные дети остались жить с ним – сначала в Тэвисток-хаусе, а впоследствии в имении Гэдсхилл. (Я всегда замечал, что Диккенс находит удовольствие в общении со своими отпрысками лишь до тех пор, покуда они не начинают проявлять самостоятельность в суждениях и поступках, то есть не перестают вести себя как маленькая Нелл, Пол Домби и прочие его вымышленные персонажи, – а потом быстро теряет к ним всякий интерес.)

Разумеется, скандал получил продолжение – последовали протесты со стороны родителей Кэтрин, публичные отказы от протестов, сделанные под давлением Диккенса и его поверенных, угрозы и лживые публичные заявления писателя, юридические интриги, страшная шумиха в прессе и окончательное и бесповоротное судебное решение о раздельном проживании, силой навязанное жене. В конечном счете Диккенс вообще отказался общаться с ней даже по поводу детей.

И это человек, олицетворявший образ «отца счастливого семейства» не только для Англии, но и для всего мира!

Конечно, Диккенсу требовалась женщина в доме. У него многочисленный штат слуг. У него девять детей, с которыми он совершенно не желает возиться, готовый разве только

поиграть с ними под настроение или покачать на колене, позируя фотографам. У него уйма общественных обязанностей. Кто-то же должен составлять ежедневные меню, списки необходимых покупок и цветочные заказы. Кто-то же должен надзирать за уборкой особняка и управлять хозяйственными делами. Чарльза Диккенса надлежит освободить от всех домашних забот. Ведь он, не забывайте, величайший писатель в мире.

Диккенс поступил самым естественным образом, пусть мне или вам подобный шаг может показаться сомнительным. (Возможно, в далеком двадцатом или двадцать первом веке, когда вы читаете мои мемуары, подобные поступки считаются само собой разумеющимися. Или, возможно, у вас хватило ума вообще упразднить странный и дурацкий институт брака. Как вы впоследствии увидите, я сам в свое время уклонился от супружеских уз и предпочел сожительствовать с одной женщиной, имея ребенка от другой, и многие современники, к великому моему удовольствию, называли меня мерзавцем и скотиной. Но я отвлекся от темы.)

Итак, Диккенс поступил самым естественным образом. Он поставил на роль хозяйки дома, надзирающей за детьми, принимающей гостей на званых вечерах и обедах, ведающей хозяйственными делами и отдающей распоряжения повару и слугам, незамужнюю сестру Кэтрин, Джорджину.

Когда поползли неизбежные слухи – касающиеся больше Джорджины, нежели Эллен Тернан, которая, образно выражаясь, отступила с освещенной авансцены в тень, – Диккенс вызвал в Тэвисток-хаус доктора и велел обследовать свою свояченицу, а затем обнародовать отчет о результатах осмотра, сообщающий всем и каждому, что мисс Джорджина Хогарт является *virgo intacta*.

На том, полагал Чарльз Диккенс, дело и кончится.

Позже его самая младшая дочь сказала мне (или, во всяком случае, при мне): «Отец тогда словно повредился рассудком. История с Эллен выявила в нем все худшие черты, все постыднейшие слабости. Ему было наплевать на всех нас. Горе и страдания нашей семьи были безмерны».

Если Диккенс и знал о душевных страданиях жены и детей или придавал им значение, коли знал, то он этого никак не показывал. Ни мне, ни своим новым и более близким друзьям.

Он оказался прав в своем предположении, что неприятный момент минует, не повредив ему в глазах читателей. Они и вправду простили Диккенса, если вообще знали о его семейных неурядицах. В конце концов, он был английским певцом домашнего очага и величайшим писателем в мире. Он заслуживал снисхождения.

Все наши литературные собратья и друзья мужского пола тоже простили и забыли (за исключением одного только Теккерея, но это отдельная история), и надо признать, иные из нас в глубине души или втихомолку восхищались Чарльзом Диккенсом, избавившимся от семейных обязательств перед столь непривлекательным и тяжеловесным камнем на шее. Этот разрыв отношений давал проблеск надежды самым разнесчастным женатым мужчинам и вселял в нас, холостяков, приятную мысль, что при желании все-таки можно вернуться из неизведанной страны супружества – безвестного края, откуда якобы нет возврата.

Но прошу помнить, дорогой читатель, что речь идет о человеке, который незадолго до своего знакомства с Эллен Тернан в одном из театров, посещенных нами в поисках «нежных фиалочек» (так мы называли хорошеньких юных актрис, доставлявших нам обоим глубокое эстетическое удовлетворение), сказал мне: «Уилки, если вы знаете, как провести вечер особенно бурно, предлагайте немедленно. Я готов на любые бесчинства. На одну ночь я отброшу всякое благоразумие! Если придумаете что-нибудь эдакое, в стиле сибаритствующего Рима эпохи предельного сластолюбия и изнеженности, можете рассчитывать на меня».

И в делах подобного рода он, в свою очередь, мог рассчитывать на меня.

* * *

Я хорошо помню день 9 июня 1865 года, когда, собственно, и началась цепь невероятных событий.

Диккенс объяснил друзьям, что он уже с середины зимы страдает переутомлением и мучается болями в «обмороженной ноге», и на неделю прервал работу над завершением романа «Наш общий друг», чтобы отдохнуть в Париже. Я не знаю, поехали ли с ним Эллен Тернан и ее мать. Но знаю, что в Лондон они возвращались вместе.

Некая дама по имени миссис Уильям Клара Питт-Бирн, с которой я никогда не встречался и не жаждал познакомиться (добрая приятельница Чарльза Уотертона – натуралиста и путешественника, писавшего о своих рискованных приключениях в разных странах мира и погибшего в результате нелепого падения с лестницы в своем поместье Уолтон-Холл всего за одиннадцать дней до Стейплхерстской катастрофы; впоследствии говорили, будто призрак Уотертона ночами бродит по поместью в облике огромной серой цапли), – так вот, эта дама имела обыкновение публиковать в «Таймс» разные злостные сплетни. Нижеприведенная язвительная заметка с сообщением, что девятого июня нашего друга видели на пароме, идущем из Булони в Фолкстон, появилась в печати через несколько месяцев после упомянутой железнодорожной катастрофы.

Сей господин путешествовал в обществе молодой особы, не приходившейся ему ни женой, ни свояченицей, но тем не менее расхаживал по палубе с видом человека, преисполненного сознанием собственной значимости. В надменном выражении его лица, в каждом его величавом жесте и движении читалось: «Смотрите на меня, пользуйтесь случаем. Я гениальный писатель, я единственный и неповторимый Чарльз Диккенс, каковой факт оправдывает любые мои поступки.

Миссис Бирн известна главным образом как автор книги «Фламандские интерьеры», вышедшей в свет несколько лет назад. По моему скромному мнению, ей следовало бы приберечь свое ядовитое перо для писанины о диванах и обоях. Для живописания человеческих существ сей даме явно недостает таланта.

В Фолкстоне Диккенс, Эллен и миссис Тернан сели на курьерский до Лондона, отправлявшийся в два тридцать восемь пополудни. На подъезде к Стейплхерсту они находились одни в вагоне первого класса, каких в составе насчитывалось семь штук.

Когда они проезжали Хедкорн в одиннадцать минут четвертого, машинист гнал поезд полным ходом, со скоростью добрых пятьдесят миль в час. Состав приближался к железнодорожному виадуку близ Стейплхерста, хотя слово «виадук», коим обозначается данное сооружение в официальном железнодорожном справочнике, представляется слишком громким для деревянного моста на перекрестных опорах, соединявшего берега мелкой речушки Белт.

На том участке пути производились текущие ремонтные работы по замене старых мостовых брусьев. Позже в ходе расследования выяснилось, что десятник сверился с недействительным расписанием и в ближайшие два часа не ждал фолкстонского поезда. (Похоже, не только нас, путешественников, сбивают с толку расписания Британских железных дорог, изобилующие сносками и скобками с бесконечными дополнениями и изменениями в связи с праздничными и выходными днями, периодами прилива и пр.)

Английский закон и железнодорожные правила предписывали выставить сигнальщика за тысячу ярдов от места подобных работ – к моменту появления фолкстонского поезда две рельсины на мосту уже были сняты и уложены вдоль полотна, – но по непонятной при-

чине человек с красным флажком находился всего в трехстах пятидесяти ярдах от разобранного участка пути. Таким образом, у курьерского, шедшего на высокой скорости, не оставалось ни малейшего шанса остановиться вовремя.

При виде запоздало взметнувшегося красного флажка (леденящее душу зрелище, надо полагать), при виде бреши в железнодорожном полотне и мостовом покрытии впереди машинист сделал все возможное. Вероятно, в ваше время, дорогие читатели, все поезда снабжены тормозами, которыми управляет непосредственно машинист. В 1865 году дело обстояло иначе. Каждый вагон надлежало тормозить отдельно, причем только по сигналу машиниста. Последний дал отчаянный гудок, призывая кондукторов спешно привести в действие тормозные механизмы. Но было уже слишком поздно.

Согласно отчету следственной комиссии, состав все еще двигался со скоростью почти тридцать миль в час, когда достиг разобранного участка колеи. Невероятно, но локомотив *перелетел* через сорокадвухфуттовую брешь и соскочил с рельсов на другой ее стороне. Все вагоны первого класса, кроме одного, свалились с моста и разбились вдребезги на дне мелкой заболоченной речки.

В единственном уцелевшем первоклассном вагоне находились Диккенс, его любовница и ее мать.

Кондукторский вагон, следовавший сразу за локомотивом, отбросило на встречную колею вместе с прицепленным к нему вагоном второго класса. Вагон Диккенса, третий по счету, частично вынесло за край моста, и он не сорвался вниз единственно благодаря сцепке с предыдущим вагоном. На рельсах устоял только самый хвост состава. Остальные шесть первоклассных вагонов со страшным грохотом рухнули в заболоченное речное русло и в большинстве своем разбились в щепы.

Впоследствии Диккенс не раз рассказывал о пережитых ужасных моментах в письмах к знакомым, но всегда осмотрительно избегал называть имена двух своих попутчиц, чьи личности раскрыл лишь в нескольких посланиях к самым близким друзьям. Уверен, я единственный, кому он поведал всю историю без умолчаний.

«Вагон вдруг сошел с рельсов, – писал он в одной из наиболее обстоятельных эпистолярных версий случившегося, – и запрыгал по полотну, подобно корзине полусдутого воздушного шара, волоочащейся по кочковатой земле. „Господи! Что это?!“ – вскричала пожилая дама (следует читать «миссис Тернан»), а ее молодая спутница (разумеется, речь идет об Эллен Тернан) пронзительно завизжала. Я подхватил их обеих... и сказал: „Единственное, что нам остается, – сохранять спокойствие. Ради бога, перестаньте кричать!“ Пожилая дама сразу же овладела собой: „Вы правы. Я буду держать себя в руках, даю вам слово“».

Вагон круто вздыбился и накренился влево. Чемоданы, картонки и прочие незакрепленные предметы посыпались с багажных полок. До конца жизни Чарльз Диккенс страдал от приступов головокружения, сопряженных с ощущением, будто «все вокруг, включая меня самого, резко накренивается влево и летит вниз».

Он продолжает повествование: «Я сказал женщинам: „Худшее уже позади. Опасность миновала. Пожалуйста, не двигайтесь, пока я не вылезу через окно“».

Затем Диккенс, все еще достаточно проворный и гибкий в свои пятьдесят три года, несмотря на «обмороженную ногу» (как человек, давно страдающий подагрой и вот уже много лет вынужденный принимать лауданум для облегчения болей, я мигом опознаю сей недуг по симптомам и почти уверен, что диккенсовское «обморожение» на самом деле являлось обычной подагрой), выбрался наружу, ловко перепрыгнул с подножки вагона на мостовое полотно и увидел двух кондукторов, в совершенном смятении бегавших взад-вперед.

Диккенс пишет, что он схватил одного из них за рукав и повелительно крикнул: «Послушайте! Остановитесь же наконец и посмотрите на меня! Вы меня узнаете?»

«Конечно, мистер Диккенс», – тотчас ответил кондуктор.

«В таком случае, уважаемый, – вскричал Диккенс почти радостно (в мелочном своем тщеславии упиваясь сознанием, что даже в такую минуту его узнали, как наверняка не преминула бы вставить Клара Питт-Бирн), – дайте поскорее ваш ключ от вагона и пошлите сюда одного из рабочих. Я хочу выпустить пассажиров».

Кондукторы, по словам Диккенса, поспешили выполнить распоряжение, рабочие перекинули две доски с края моста к висевшему в воздухе вагону, и отважный писатель благополучно вывел оттуда женщин, а потом бесстрашно вернулся обратно за своим цилиндром и фляжкой с бренди.

Здесь я прерву повествование нашего общего друга и скажу, что впоследствии, руководствуясь именами, перечисленными в официальном отчете следственной комиссии, я разыскал кондуктора, которого Диккенс якобы остановил и побудил к столь полезным действиям. У означенного кондуктора – некоего Лестера Смита – сохранились несколько иные воспоминания о тех минутах.

«Мы собирались спуститься вниз, чтобы оказать помощь раненым и умирающим, и тут к нам с Пэдди Билом подбегает этот хлыщ, что выбрался из повисшего на краю моста первоклассного вагона, бледный как смерть, с дико выпученными глазами, и орет дурным голосом: „Вы меня узнаете? Вы меня узнаете? Вы знаете, кто я такой?“ Честно говоря, я ответил: „Мне плевать, кто ты такой, приятель, – хоть сам принц Альберт. Отвали, не путайся под ногами“. Обычно я с джентльменами так не разговариваю, но тогда обстоятельства были необычные».

Во всяком случае, Диккенс действительно руководил действиями рабочих, вызволявших Эллен и миссис Тернан, он действительно вернулся обратно в вагон за цилиндром и фляжкой с бренди, он действительно зачерпнул в цилиндр воды, спустившись к реке по крутому откосу, и все очевидцы единодушно показывают, что он незамедлительно принялся извлекать из-под обломков тела погибших и оказывать помощь пострадавшим.

* * *

До самой своей смерти, наступившей через пять лет после Стейплхерстской катастрофы, Диккенс неизменно описывал все увиденное под мостом двумя словами – «просто невообразимо», а все услышанное там коротко характеризовал наречием «невразумительно». И это английский писатель, который, по всеобщему признанию, обладал самым богатым воображением после сэра Вальтера Скотта! Человек, сочинявший повести и романы по меньшей мере чрезвычайно вразумительные!

Возможно, «невообразимое» началось, когда он спускался к реке по крутому откосу. Внезапно рядом с ним появился высокий худой мужчина в тяжелом черном плаще, гораздо более уместном для вечернего похода в оперу, нежели для поездки в Лондон на дневном курьерском. Оба они держали цилиндр в левой руке, а правой цеплялись за кусты, чтобы не упасть. Позже Диккенс хриплым шепотом (он потерял голос после катастрофы) рассказал мне, что незнакомец, тощий как скелет и мертвенно-бледный, пристально смотрел на него густо затененными глазами, глубоко посаженными под высоким бледным лбом, переходящим в бледную лысину. По сторонам черепообразного лица торчали жидкие пряди сивых волос. Впечатление черепа усиливали слишком короткий нос («две черные щели на землистой физиономии, а не нормальной длины орган обоняния», по выражению Диккенса), редкие мелкие зубы, острые и неровные, и очень бледные – светлее самих зубов – десны.

Писатель заметил также, что на правой руке у мужчины не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного, а на левой руке нет среднего. Диккенс обратил особое внимание на тот факт, что пальцы не ампутированы на уровне сустава, как часто делается в случае

хирургического вмешательства при серьезных травмах, а грубо обрублены посреди третьей фаланги. «Культи, – сказал он мне впоследствии, – походили на огарки восковой свечи».

Диккенс и странный господин в черном плаще медленно спускались по крутому откосу, цепляясь за кусты и валуны.

– Я Чарльз Диккенс, – наконец выдохнул мой друг, впавший в изрядное замешательство.

– Знаю-с-с, – присвистывая сквозь мелкие зубы, промолвил незнакомец.

Диккенс смешался еще сильнее.

– Как ваше имя, сэр? – осведомился он, съезжая вместе со спутником вниз по каменистой осыпи.

– Друд, – последовал ответ.

Во всяком случае, Диккенсу так послышалось. Незнакомец говорил глухим голосом с легким чужеземным акцентом, и слово прозвучало скорее как «труп».

– Вы ехали на этом поезде в Лондон? – спросил Диккенс.

Они уже находились у самого подножья крутого откоса.

– В Лаймхаус-с-с, – с присвистом произнес долговязый субъект в черном плаще. – Уайтчепел. Рэтклифф-кросс-с-с. Джин-лейн. Три-Фокс-с-сес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы.

Услышав сей странный перечень, Диккенс недоуменно взглянул на чудного господина – ведь поезд направлялся на вокзал в центре Лондона, а не в восточный район столицы, где находились упомянутые грязные улочки. Трущобами на жаргоне назывались беднейшие жилые кварталы города. Но откос уже кончился, и на берегу загадочный Друд, не промолвив более ни слова, повернулся прочь и скользнул в густую тень под железнодорожным мостом. Спустя несколько мгновений фигура в черном плаще растаяла в темноте.

«Как вы понимаете, – шепотом говорил мне Диккенс впоследствии, – я ни секунды не воображал, будто странный человек в черном – это Смерть, явившаяся собрать свою дань. Или еще какое-нибудь олицетворение разыгравшейся там трагедии. Это было бы слишком банально даже для обладателя много беднейшей фантазии, чем моя. Но надо признаться, Уилки, я предположил в Друде гробовщика из Стейплхерста или какой-нибудь другой близлежащей деревушки».

Оставшись один, Диккенс окинул взором картину кровавой трагедии.

Опознать вагоны поезда в гудах искореженного металла и дерева, лежавших в речном русле и на заболоченных берегах, не представлялось возможным. Если бы не железные колеса и оси, торчавшие там и сям под немыслимыми углами, ужасное зрелище наводило бы на мысль о деревянных бунгало, принесенных мощным ураганом откуда-нибудь из Америки и сброшенных здесь с огромной высоты. Причем обломки выглядели так, словно после падения они еще раз взмыли в поднебесье, снова рухнули вниз и разбились в мелкие щепы.

Поначалу Диккенс решил, что в такой катастрофе не мог выжить ни один человек, но уже в следующий миг речную долину огласили крики несчастных страдальцев (на самом деле раненых оказалось гораздо больше, чем погибших). В этих воплях не было ничего человеческого, они звучали бесконечно страшнее, чем крики и стоны, которые мой друг слышал при посещении переполненных больниц вроде детского госпиталя на Рэтклифф-кросс (минуту назад упомянутом Друдом), куда отправляли умирать нищих и беспризорных. Казалось, будто кто-то отворил врата в преисподнюю и позволил обреченным на вечные муки в последний раз возопить о помощи к бренному миру.

Навстречу Диккенсу, шатаясь, шел мужчина с расprostертыми, словно для приветственных объятий, руками. Верхняя часть черепа у него была снесена, точно макушка вареного яйца, срезанная ножом перед завтраком. Диккенс ясно видел розово-серую массу,

поблескивавшую в чаше раздробленного черепа. По лицу несчастного струились потоки крови, заливая безумно вытаращенные глаза.

Диккенс дал раненому глотнуть бренди из своей фляжки, не зная, что еще можно сделать. Горлышко фляжки окрасилось в густо-красный цвет. Он уложил мужчину на траву, омыл ему лицо водой, зачерпнутой в цилиндр, а затем спросил: «Как ваше имя, сэр?» Но страдалец прошептал лишь: «Все кончено» – и испустил дух, вперив в небо остекленелый взгляд залитых кровью глаз.

Внезапно по земле скользнула тень. Диккенс резко вскинул голову, в полной уверенности, что сейчас увидит Друда, который пролетает над ними, широко раскинув полы черного плаща, точно ворон на распластанных крылах. Но то оказалось лишь облачко, на миг набежавшее на солнце.

Диккенс снова набрал воды в цилиндр и уже через несколько секунд столкнулся с женщиной, по чьему посерелому лицу тоже текла ручьями кровь. Она была почти голой, лишь несколько окровавленных лохмотьев свисали с истерзанного тела подобием старых бинтов. На месте левой груди у нее зияла страшная рана. Она не остановилась на оклик писателя и, похоже, не услышала призывов сесты и подождать помощи, но быстрым шагом прошла мимо и скрылась за редкими деревьями на берегу.

Диккенс помог двум ошеломленным кондукторам извлечь из искореженного вагона изуродованное женское тело и осторожно положить на землю поодаль. Какой-то мужчина брел по колено в воде, истошно выкрикивая: «Моя жена! Моя жена!» Диккенс отвел его к труп. Несчастный с душераздирающим воплем схватился за голову и принялся бешено метаться по заболоченному берегу, безостановочно испуская звуки, которые, по словам Диккенса, «походили на предсмертные хрипы кабана, чьи легкие прострелены несколькими крупнокалиберными пулями». Потом он лишился чувств и рухнул в трясину, словно пораженный пулей прямо в сердце, а не в легкое.

Диккенс направился обратно к вагонам и увидел женщину, сидящую на земле спиной к стволу дерева. Она казалась целой и невредимой – если не считать тонкой струйки крови на виске, истекавшей, вероятно, из поверхностной раны.

– Я принесу вам воды, мадам, – сказал мой друг.

– Буду вам очень признательна, сэр.

Она улыбнулась, и Диккенс отшатнулся: у нее были выбиты все передние зубы.

Возле самой речки он обернулся и увидел, что над женщиной заботливо склоняется человек, похожий на Друда (вряд ли еще кто-нибудь был наряжен в толстый оперный плащ тем теплым июньским днем). Когда через несколько секунд Диккенс вернулся с водой в цилиндре, господин в черном уже исчез, а женщина была мертва, хотя по-прежнему скалилась в жутком подобии улыбки, обнажая раздробленные беззубые десны.

Он вернулся к перевернутым разрушенным вагонам. В одном из них слабо стонал молодой джентльмен. По откосу к реке торопливо спускались еще несколько спасателей. Диккенс бросился к ним, призывая помочь ему вытащить беднягу из-под обломков железа и дерева, пересыпанных битым стеклом и клочьями красного бархата. Когда дюжие кондукторы, кряхтя, приподняли тяжелые оконные рамы и доски полового настила, теперь обратившиеся в рухнувшую крышу, Диккенс сжал руку раненого и ободряюще сказал:

– Я позабочусь о вас, сынок.

– Благодарю вас... Вы очень добры, – с трудом проговорил юноша – явно пассажир одного из вагонов первого класса.

– Как ваше имя? – спросил наш писатель, когда кондукторы понесли пострадавшего к берегу.

– Диккенсон, – ответил тот.

Чарльз Диккенс проследил, чтобы мистера Диккенсона отнесли к железнодорожному полотну, а потом, вместе с группой вновь прибывших спасателей, спустился обратно в речное русло. Он перебегал от одного пострадавшего к другому, помогая встать, утоляя жажду, утешая, ободряя, прикрывая наготу иных раненых любым попадавшимся под руку тряпьем и внимательно осматривая недвижные тела, дабы удостовериться, что они уже бездыханны.

Несколько спасателей и уцелевших пассажиров, по словам Диккенса, действовали столь же собранно и энергично, как он, но многие просто стояли истуканами и тупо смотрели, оцепенев от потрясения. Усерднее всех прочих на месте страшной катастрофы трудились двое: Диккенс и странный субъект, назвавшийся Друдом. Правда, господин в черном плаще постоянно находился за пределами слышимости, на периферии зрения и, казалось, не переходил от одного искореженного вагона к другому, а плавно скользил.

Диккенс увидел тучную женщину, – судя по просто скроенному платью из крестьянского полотна, пассажирку одного из вагонов низшего класса. Она лежала в трясине ничком, подсунув руки под грудь. Наш друг перевернул ее на спину, дабы убедиться, что она уже не дышит, но глаза на измазанном грязью лице вдруг широко раскрылись.

– Я спасла ее! – задыхаясь, проговорила толстуха. – Я спасла мою крошку от *него*!

Диккенс не сразу заметил, что она судорожно стискивает в жирных руках младенца, чье крошечное белое личико тесно прижато к огромной отвислой груди. Ребенок был мертв – либо захлебнулся в трясине, либо задохнулся под тяжестью матери.

Диккенс услышал свое имя, произнесенное с присвистом, увидел в густой тени под разрушенным мостом неясную фигуру Друда, призывно манящего пальцем, и направился к нему. Однако по пути он остановился возле вдребезги разбитого перевернутого вагона, из сплющенного окна которого высовывалась изящная голая рука, явно принадлежащая молодой девушке. Тонкие пальцы шевелились, словно подзывая Диккенса поближе.

Он присел на корточки и взял тонкую кисть обеими руками. «Я здесь, дорогая моя», – промолвил он в темную щель, что всего пятнадцать минут назад была окном. Он сжал пальцы невидимой женщины, и она ответила слабым пожатием, словно благодаря за спасение.

Диккенс наклонился ниже, но не разглядел в крохотной конусообразной полости под обломками ничего, кроме изодранной диванной обивки да скопления черных теней. Он не смог бы даже протолкнуть плечи в узкий проем. Верхняя перекладина оконной рамы проседала чуть не до самой земли. Частое, прерывистое дыхание пострадавшей еле слышалось сквозь журчание реки. Не думая о приличиях, Диккенс погладил обнаженную бледную руку, от запястья до локтя покрытую рыжеватым пушком, отливавшим медным блеском в лучах предвечернего солнца.

– К нам направляются кондукторы и, кажется, врач, – сказал наш друг в узкую щель, продолжая сжимать кисть молодой дамы.

Он не знал наверное, является ли врачом мужчина в коричневом костюме и с кожаным саквояжем, но страстно на это надеялся. Четыре кондуктора, вооруженные топорами и ломом, бежали впереди, а господин в строгом костюме трусил за ними, пыхтя и отдуваясь.

– Сюда, скорее! – крикнул Диккенс.

Он ободряюще стиснул тонкую кисть. Бледные пальцы дрогнули, ухватились за его указательный палец и несколько раз сжались и разжались – так новорожденный младенец инстинктивно цепляется за руку отца. Девушка не промолвила ни слова, но из темноты донесся протяжный вздох, почти удовлетворенный. Диккенс по-прежнему держал пострадавшую за руку и молился, чтобы раны ее оказались не тяжелыми.

– Бога ради, поторопитесь! – воскликнул он.

Мужчины столпились вокруг. Дородный господин в костюме представился – он оказался врачом по имени Моррис. Диккенс решительно отказался покинуть свое место у окна

и даже просто отпустить руку юной дамы, когда четверо кондукторов принялись отжимать ломами вверх и в сторону оконную раму, расщепленные доски и искореженное железо, расширяя крохотное пространство, ставшее для пассажирки укрытием и спасением.

– Осторожнее! – крикнул Диккенс кондукторам. – Ради всего святого, осторожнее! Только чтобы ничего не рухнуло! Осторожнее с теми металлическими перекладинами! – Наклонившись ниже, Диккенс крепко стиснул руку девушки и прошептал в темное отверстие: – Сейчас мы вытащим вас, голубушка. Потерпите еще немного.

В слабом ответном пожатии Диккенс почувствовал благодарность.

– Вам придется отойти на минутку, сэр, – сказал доктор Моррис. – Парни приподнимут доски вот здесь, а я просунусь внутрь и посмотрю, насколько серьезно она пострадала и можно ли ее двигать прямо сейчас. Буквально на минутку, сэр. Вот и славно.

Диккенс ласково похлопал по изящной кисти и ощутил последнее прощальное пожатие тонких бледных пальцев с тщательно наманикюренными ноготками. Он отогнал прочь отчетливую, но совершенно неуместную мысль, что в таком вот телесном контакте с незнакомкой, чьего лица он еще не видел, есть что-то возбуждающее. Он сказал: «Через минуту все кончится и вы будете в безопасности, голубушка» – и неохотно отпустил руку девушки. Потом отполз на четвереньках назад, уступая место спасателям и чувствуя, как колени штанов насквозь пропитываются болотной влагой.

– Давайте! – крикнул доктор, опускаясь на колени там, где секундой ранее находился Диккенс. – Поднатужьтесь хорошенько, ребята!

Четверо дюжих кондукторов поднатужились презрительно, сперва приподняв ломами и потом подперев плечами рухнувший половой настил, теперь превратившийся в тяжелую грудку досок. Темная конусообразная полость под завалом немного расширилась, и в нее проник солнечный луч. Мужчины разом ахнули, отчаянно стараясь удержать на плечах неподъемный груз, а потом один из них ахнул еще раз.

– О боже! – сдавленно выкрикнул кто-то.

Доктор резко отпрянул, точно прикоснувшись к оголенному электрическому проводу. Диккенс подполз ближе, собираясь предложить свою помощь, и наконец заглянул в полость под завалом.

Он не увидел там никакой женщины или девушки. В узкой щели среди обломков лежала одна только голая рука, оторванная в плечевом суставе. Шаровидная головка кости казалась ослепительно-белой в солнечном свете.

Все хором завопили, призывая подмогу. На крики прибежали еще несколько спасателей. Доктор повторил распоряжения. Кондукторы принялись орудовать топорами и ломами, сначала осторожно, а потом с разрушительным неистовством, почти умышленным. Тела молодой женщины под завалом просто-напросто не оказалось. В той грудке обломков они вообще не нашли ни одного тела – лишь разномастные клочья изодранной одежды да несколько вырванных кусков мяса с фрагментами кости. Там не осталось даже подлежащего опознанию лоскута от платья погибшей – только бледная рука с бескровными скрюченными пальцами, теперь неподвижными.

Не промолвив более ни слова, доктор Моррис повернулся и скорым шагом направился к спасателям, суетившимся вокруг других жертв катастрофы.

Диккенс поднялся на ноги, нервно поморгал, облизал пересохшие губы, а потом вытащил из кармана фляжку с бренди. Ощутив во рту медный привкус, он осознал, что фляжка пуста и на языке у него лишь вкус крови, оставленной на горлышке кем-то из пострадавших, которым он давал пить. Он долго озибался по сторонам в поисках своего цилиндра, прежде чем сообразил, что тот у него на голове. Волосы у него намokли от речной воды, стекавшей из цилиндра и капавшей за воротник.

К месту происшествия уже прибывали новые спасатели и зеваки. Диккенс рассудил, что теперь здесь и без него обойдутся. Он медленно, неуклюже вскарабкался по крутому береговому откосу к железнодорожному полотну, где стояли неповрежденные вагоны, покинутые пассажирами.

Эллен и миссис Тернан сидели в тени на штабеле шпал и спокойно пили воду из чайных чашек.

Диккенс потянулся было к облаченной в перчатку руке Эллен, но так и не прикоснулся к ней. Вместо этого он спросил:

– Как вы, дорогая моя?

Эллен улыбнулась, но в глазах у нее стояли слезы. Она дотронулась до своего левого локтя и плеча.

– Набила несколько синяков, кажется, но в остальном все в порядке. Благодарю вас, мистер Диккенс.

Писатель кивнул почти рассеянно, глядя куда-то в сторону. Потом он повернулся, быстро подошел к краю разрушенного моста, с бездумной ловкостью безумца перепрыгнул на подножку висящего в воздухе вагона, пролез в разбитое окно с такой легкостью, будто вошел в дверь, и проворно спустился вниз по спинкам кресел, теперь превратившимся в подобие ступеней на круто наклоненном полу салона. Вагон висел высоко над речным руслом, ненадежно соединенный сцепкой со стоящим на мосту вагоном второго класса, и слегка покачивался, подрагивал, точно маятник сломанных настенных часов.

Еще до спасения Эллен и миссис Тернан Диккенс вынес из вагона свой кожаный саквояж с рукописью шестнадцатого выпуска «Нашего общего друга», над которым работал во Франции, но сейчас он вспомнил, что последние две главы остались в кармане его пальто, – аккуратно свернутое, оно по-прежнему лежало на багажной полке над их местами в самом конце салона. Вагон со скрипом и скрежетом раскачивался на высоте тридцати футов над рекой, бросающей зыбкие солнечные блики в разбитые окна. Утвердившись ногами на спинке кресла, Диккенс достал с полки пальто, извлек из него рукопись – немного замусоленную, но целую и невредимую – и, по-прежнему балансируя на спинке кресла, засунул пачку страниц в карман сюртука.

В следующий миг Диккенс случайно бросил взгляд вниз, сквозь дверь с разбитым стеклом в торце вагона. Прямо под вагоном, с полным пренебрежением к опасности, которую представляла собой повисшая в воздухе многотонная махина из железа и дерева, стоял с запрокинутой головой человек по имени Друд и пристально смотрел на Диккенса – причем из-за причудливой игры солнечных бликов на речной глади складывалось впечатление, будто он стоит не в, а на воде. Тусклые глаза в глубоких глазницах казались лишенными век.

Губы Друда приоткрылись и зашевелились, за мелкими редкими зубами мелькнул мясистый язык, и Диккенс расслышал свистящие звуки, но не разобрал ни единого слова сквозь металлический скрежет раскачивающегося вагона и непрерывные крики раненых в речной долине. «Невразумительно, – пробормотал он. – Невразумительно».

Внезапно вагон сильно качнулся и дернулся вниз, словно собираясь упасть. Диккенс машинально схватился одной рукой за полку, чтобы удержаться на ногах. Когда колебание прекратилось и он снова посмотрел вниз, Друд уже исчез. Писатель перекинул пальто через плечо, вскарабкался вверх по рядам кресел и выбрался наружу.

Глава 2

Девятого июня, когда мой друг попал в железнодорожную катастрофу близ Стейплхерста, я находился в отъезде. И только по возвращении в Лондон, через три дня после трагического происшествия, я получил от моего младшего брата Чарльза, женатого на старшей дочери Диккенса, записку с сообщением о близком столкновении писателя со смертью. Я тотчас же поспешил в Гэдсхилл.

Хочется надеяться, дорогой читатель, живущий в моем далеком посмертном будущем, что вы помните Гэдсхилл – Гэдский холм – по трагедии Шекспира «Генрих IV». Вы наверняка помните Шекспира, даже если все остальные писатели, жалкие бумагомайки рядом с ним, уже давно растворились в тумане истории. Именно на Гэдском холме Фальстаф замышляет грабеж, но остается в дураках, когда принц Гарри с другом переодеваются разбойниками и грабят незадачливого грабителя, после чего сэр Джон Толстый в страхе ударяется в бегство и позже рассказывает о нападении, по ходу повествования превращая Гарри с подручным сначала в четырех разбойников, потом в восьмерых, потом в двадцатерых и так далее. Неподалеку от усадьбы Диккенса находится гостиница «Фальстаф-Инн», и мне кажется, мысль о связи собственного поместья с именем Шекспира нравилась нашему другу не меньше, чем пиво, которое он частенько пил в упомянутой гостинице в конце своих долгих прогулок.

Подъезжая в наемном экипаже к месту назначения, я невольно вспомнил, что Гэдсхилл-плейс дорог сердцу Чарльза Диккенса еще по одной причине, появившейся задолго до того, как он купил имение десять лет назад. Гэдсхилл находился в деревне под названием Чатем, примыкавшей к кафедральному городку Рочестер, расположенному милях в двадцати пяти от Лондона. В Чатеме писатель провел самые счастливые годы детства, а в зрелости часто возвращался туда и бродил по окрестностям, словно неприкаянное привидение в поисках последнего приюта. Сам дом, Гэдсхилл-плейс, показал семи- или восьмилетнему Чарльзу Диккенсу отец во время одной из бесчисленных совместных прогулок. Джон Диккенс сказал тогда приблизительно следующее: «Если будешь усердно трудиться, сынок, однажды ты станешь владельцем такого вот роскошного особняка». В феврале 1855 года, в свой сорок третий день рождения, «сынок» поехал с несколькими своими друзьями в Чатем на обычную сентиментальную прогулку и, к великому своему изумлению, обнаружил, что недостижимый особняк, столь памятный по детским годам, выставлен на продажу.

Диккенс признавал, что Гэдсхилл-плейс представляет собой скорее просто комфортабельный деревенский дом, нежели особняк в полном смысле слова (на самом деле прежний дом Диккенса, Тэвисток-хаус, выглядел гораздо внушительнее во всех отношениях), хотя после покупки имения писатель вложил немалые средства в реставрацию, реконструкцию, декорирование и благоустройство старинного здания. На первых порах он планировал осуществить мечту покойного отца о рентном доходе с собственности, потом вознамерился жить в Гэдсхилле наездами, но после неприятного расставания с Кэтрин он сначала сдал Тэвисток-хаус в аренду, а затем и вовсе выставил городской особняк на продажу, перебравшись на постоянное жительство в имение. (Впрочем, он всегда снимал в Лондоне несколько квартир, где время от времени жил, порой тайно, – одна из них располагалась прямо над конторой нашего журнала «Круглый год».)

После приобретения усадьбы Диккенс сказал своему другу Уиллсу: «Гэдсхилл-плейс казался мне великолепным особняком (хотя никакого великолепия там нет и в помине), когда я был странным маленьким мальчиком, в чьей голове уже зарождались смутные образы всех будущих моих книг».

Когда экипаж свернул с Грейвсенд-роуд и покатил по извилистой аллее к трехэтажному краснокирпичному зданию, я думал о том, что в конечном счете эти смутные образы материализовались для многих тысяч читателей, а сам Диккенс теперь обитает в этих прочных стенах, которые его никчемный отец, потерпевший неудачу и в семейной, и в финансовой сфере, в далеком прошлом привел своему сыну в пример как высочайшую возможную награду за успехи в личной и профессиональной жизни.

* * *

Служанка впустила меня, и я поздоровался с вышедшей мне навстречу Джорджиной Хогарт, свояченицей Диккенса и нынешней хозяйкой дома.

– Как себя чувствует Неподражаемый? – спросил я, употребив общепринятое прозвище, особо любимое писателем.

– У него расстроены нервы, мистер Коллинз, совсем расстроены, – прошептала Джорджина и приложила палец к губам.

Кабинет Диккенса находился совсем рядом, справа от парадного входа. Дверь там была закрыта, но я часто гостил в Гэдсхилле и знал, что хозяин всегда держит дверь кабинета закрытой, работает он или нет.

– Он испытал столь сильное потрясение, что в первую ночь после катастрофы мистеру Уиллсу пришлось переночевать с ним в лондонской квартире, – продолжала Джорджина театральным шепотом. – На случай, если вдруг понадобится помощь.

Я кивнул. Первоначально нанятый на должность сотрудника диккенсовского журнала «Домашнее чтение», чрезвычайно практичный и напроочь лишенный воображения Уильям Генри Уиллс – во многих отношениях полная противоположность темпераментному и энергичному Диккенсу – в конечном счете стал ближайшим другом и доверенным лицом знаменитого писателя, оттеснив в сторону даже старых друзей вроде Джона Форстера.

– Он сегодня не работает, – прошептала Джорджина. – Я спрошу, примет ли он вас. – Она приблизилась к двери кабинета с явной опаской.

– Кто там? – раздался из кабинета чей-то голос, когда Джорджина тихонько постучала.

Я сказал «чей-то», поскольку голос принадлежал явно не Чарльзу Диккенсу. У нашего знаменитого писателя, как еще долго помнили все его знакомые, был низкий голос и торопливый говор с чуть смазанной дикцией – последнюю особенность многие принимали за шепелявость, и именно она заставляла Диккенса в качестве компенсации излишне старательно артикулировать гласные и согласные, вследствие чего его скорая, но очень четкая и гладкая речь порой производила на посторонних людей впечатление напыщенности.

Сейчас же я услышал совершенно незнакомый голос. Дребезжащий старческий тенорок.

– К вам мистер Коллинз, – пролепетала Джорджина, обращаясь к дубовой двери.

– Пускай он возвращается на свое болезненное ложе, – проскрипел надтреснутый голос.

Я растерянно моргнул. Последние пять лет, с самого времени своей женитьбы на Кейт Диккенс, мой младший брат страдал сильными приступами несварения и изредка слегал с различными недугами, но я был уверен, что все они не представляют никакой опасности для жизни. Диккенс считал иначе. Писатель решительно не одобрял этот брак, догадываясь, что любимая дочь вышла замуж за Чарльза – бывшего иллюстратора диккенсовских произведений – единственно из желания досадить ему, и явно убедил себя, что мой брат находится при смерти. Как мне недавно стало известно из достоверного источника, Диккенс однажды обмолвился в разговоре с Уиллсом, что мой дорогой брат по состоянию здоровья «совершенно непригоден ни к какой деятельности», и, даже будь это правдой (а это чистая неправда), сказать подобное мог только человек в высшей степени бессердечный.

– Нет, мистер Уилки, – уточнила Джорджина и опасливо оглянулась через плечо, словно надеясь, что я не услышал.

– О!.. – произнес дрожащий старческий голос. – Так какого черта вы сразу не сказали?

За дверью слышались приглушенные звуки возни и шаркающие шаги, потом в замке со скрежетом провернулся ключ (что само по себе казалось странным, ибо Диккенс имел обыкновение запира́ть кабинет снаружи, но никогда не запира́л изнутри), и дверь распахнулась.

– Милейший Уилки, милейший Уилки, – проговорил Диккенс незнакомым скрипучим голосом, простирая объятия. Он энергично потряс мне руку обеими своими руками, предварительно коротко пожав левой (в ней он держал часы с цепочкой) мое правое плечо. – Спасибо, Джорджина, – рассеянно бросил он, затворяя за нами дверь, но на сей раз не запирая на ключ. Он провел меня в темный кабинет.

Вот еще одна странность. Я никогда прежде не видел, чтобы эркерные окна в святая святых писателя были зашторены в дневное время, но сейчас их плотно закрывали портьеры. Единственным источником света служила лампа на журнальном столике в центре комнаты. На стоявшем в эркере письменном столе, обращенном к окнам, лампы не было. Лишь немногие из нас устаивались чести лицезреть Диккенса за работой в этом кабинете, но все лицезревшие находили несколько нелепым, что он неизменно сидит лицом к окнам, выходящим в сад и на Грейвсенд-роуд, но не видит за ними ничегошеньки, когда поднимает взор от пера и бумаги. Во время работы писатель погружался в мир собственных фантазий и полностью отрешался от внешнего мира – лишь изредка посматривал на свое отражение в зеркале, гримасничая, ухмыляясь, хмурясь, выкатывая глаза как бы от ужаса и придавая лицу разные другие карикатурные выражения, какими наделял своих персонажей.

Диккенс протащил меня в глубину темного кабинета и знаком пригласил сесть в кресло у письменного стола. Если не считать наглухо задернутых штор, комната выглядела как обычно – чистота и порядок почти маниакального свойства (нигде ни пылинки, хотя Диккенс никогда не позволял слугам убираться в своем кабинете). Письменный стол с наклонной рабочей поверхностью, набор необходимых для работы предметов, аккуратно расставленных и разложенных, всегда в одной последовательности, на горизонтальной части столешницы, словно заветные талисманы, – календарь-ежедневник, чернильница, перья, карандаш, каучуковый ластик, явно ни разу не использованный, подушечка для булавок, бронзовая статуэтка в виде двух дерущихся жаб, нож для разрезания бумаги, неизменно лежащий строго перпендикулярно краю стола, стилизованная фигурка кролика на позолоченной подставке. Все это были своего рода символы удачи – «обязательные аксессуары», по выражению Диккенса. Однажды он сказал мне, что на них «отдыхает мой глаз, когда я ненадолго откладываю перо в сторону». В Гэдсхилле он не написал бы без них ни единого слова, как не написал бы без чернил и гусиных перьев.

Вдоль стен кабинета размещались книжные стеллажи – один стеллаж с фальшивыми корешками (почти на всех значились комичные названия, придуманные самим Диккенсом), в свое время изготовленный для Тэвисток-хауса, а ныне привинченный здесь к двери, и сплошные ряды настоящих полок, которые тянулись по всему периметру комнаты, прерываясь только на окнах и красивом бело-голубом камине, украшенном двадцатью дельфтскими изразцами.

Сам Диккенс в тот июньский день выглядел страшно постаревшим. Высокие залысины, глубоко запавшие глаза, морщины и складки на лице резко выделялись в жестком свете газовой лампы, стоявшей на журнальном столике. Он то и дело посматривал на зажатый в руке хронометр с закрытой крышкой.

– Очень мило с вашей стороны, что вы приехали, дорогой Уилки, – проскрипел Диккенс.

– Да бросьте, пустое, – сказал я. – Я бы приехал раньше, когда бы не находился в отлучке, о чем, полагаю, вам сообщил мой брат. Голос у вас какой-то чудной, Чарльз.

– Чужой? – переспросил он с мимолетной улыбкой.

– Чудной.

Он отрывисто хохотнул. Редко в каком разговоре Чарльз Диккенс обходился без смеха. Я в жизни не встречал второго такого смешливого человека. Он находил комичное практически в любой, даже самой серьезной, ситуации, как иные из нас, к великому своему смущению, находят в похоронах.

– «Чужой» в данном случае звучит уместнее, позволю себе заметить, – сказал Диккенс дребезжащим старческим тенорком. – Я самым необъяснимым образом поменялся с кем-то голосом на месте страшной Стейплхерстской катастрофы. Очень хотелось бы, чтобы сей господин вернул мне мой голос и забрал свой... Это скрипучее бляение, приличествующее больше мистеру Микоберу в старости, мне совсем не по душе. Такое ощущение, будто кто-то дерет наждачной бумагой голосовые связки и самые звуки, ими производимые.

– Надеюсь, никаким иным образом вы не пострадали? – спросил я, подаваясь вперед, в круг света от лампы.

Диккенс небрежно отмахнулся от вопроса и снова уставился на золотые часы, зажатые в руке.

– Дорогой Уилки, нынче ночью мне приснился в высшей степени удивительный сон.

– Вот как? – сочувственно промолвил я, готовясь услышать описание кошмаров, связанных с железнодорожной катастрофой.

– Мне снилось, будто я читаю свою книгу, написанную в будущем, – тихо проговорил Диккенс, нервно вертя часы в руках; золотой корпус поблескивал в свете единственной лампы. – Страшную книгу... в ней человек сам себя загипнотизировал до такой степени, что он – или его второе «я», созданное силой внушения, – стал способен на чудовищные, немыслимые злодеяния. На эгоистичные, разрушительные, продиктованные похотью поступки, которые этот человек – во сне мне почему-то хотелось называть его Джаспером – никогда не совершил бы сознательно. И еще один... еще одно существо... было замешано во всей этой истории.

– Сам себя загипнотизировал, – пробормотал я. – Разве такое возможно? Я доверяю вашему мнению, дорогой Чарльз, ведь вы дольше и лучше меня знакомы с искусством магнетического воздействия.

– Понятия не имею. Я никогда не слышал о самогипнозе, но это не значит, что подобного феномена не существует. – Он взглянул на меня. – Вы когда-нибудь погружались в месмерический транс, Уилки?

– Нет, – ответил я со смешком. – Правда, меня мало кто пытался загипнотизировать.

Я не счел нужным добавлять, что профессор Джон Эллиотсон, бывший сотрудник клиники при университетском колледже, учитель и наставник самого Диккенса в искусстве месмеризма, потерпел неудачу во всех своих попытках магнетически воздействовать на меня. Просто я обладал слишком сильной волей.

– Давайте попробуем, – сказал Диккенс, принимаясь раскачивать часы на цепочке, как маятник.

– Чарльз, – я хихикнул, хотя никакой веселости не испытывал, – ну зачем вам это, скажите на милость? Я приехал, чтобы услышать рассказ о пережитой вами ужасной катастрофе, а не играть в салонные игры с часами и...

– Ну пожалуйста, сделайте мне одолжение, милейший Уилки, – попросил Диккенс. – Вы же знаете, у меня неплохо получалось гипнотизировать других людей, – кажется, я говорил вам о долгом и довольно успешном курсе месмерического лечения, проведенного мной с бедной мадам де ля Рю во время моего пребывания на континенте.

Я неопределенно хмыкнул. Диккенс давно уже успел рассказать всем своим друзьям и знакомым о продолжительной серии магнетических сеансов, которые он с маниакальным упорством проводил с «бедной» мадам де ля Рю. Он не упомянул никому из нас лишь об одном обстоятельстве (известном, впрочем, всем нам и без него): что сеансы гипноза с замужней и явно сумасшедшей дамой, происходившие в самые разные часы дня и ночи, вызвали у его жены Кэтрин такую ревность, что она – наверное, впервые за все годы супружества – взбунтовалась и потребовала, чтобы он прекратил курс лечения.

– Пожалуйста, следите взглядом за часами, – сказал Диккенс, мерно раскачивая золотой диск в полумраке.

– Ничего не выйдет, мой дорогой Чарльз.

– Вам хочется спать, Уилки... вам очень хочется спать... у вас слипаются глаза. Вам так хочется спать, словно вы недавно приняли несколько капель лауданума.

Я едва не рассмеялся в голос. Перед самым выездом из дома я принял несколько *десяти* капель лауданума, как делал каждое утро. Вдобавок по дороге в Гэдсхилл я чересчур часто прикладывался к своей серебряной фляжке.

– Вам очень... очень... хочется спать, – монотонно продолжал Диккенс.

С минуту я честно старался впасть в дремоту, просто чтобы угодить Неподражаемому. Судя по всему, таким образом мой друг пытался отвлечься от жутких воспоминаний о недавней железнодорожной катастрофе. Я сосредоточил взгляд на раскачивающихся часах. Прислушивался к монотонному голосу Диккенса. По правде говоря, жаркая духота закрытой комнаты, приглушенное освещение, блеск мерно колеблющегося золотого диска, а прежде всего утренняя доза лауданума все-таки вызвали у меня короткий, буквально секундный, приступ сонливости.

Позволь я себе расслабиться в тот момент, я бы наверняка погрузился в сон, если не в гипнотический транс, в какой хотел ввергнуть меня Диккенс.

Но я стряхнул с себя дремоту прежде, чем она овладела мной, и резко промолвил:

– Мне очень жаль, Чарльз. Со мной ничего не получится. У меня слишком сильная воля.

Диккенс разочарованно вздохнул и убрал часы в карман. Потом он подошел к окну и слегка раздвинул портьеры. Мы оба прищурились от яркого солнечного света.

– Да, верно, – промолвил Диккенс. – Почти все писатели обладают слишком сильной волей, чтобы поддаваться гипнотическому воздействию.

Я рассмеялся:

– В таком случае, если вы когда-нибудь напишете роман, основанный на сегодняшнем вашем сновидении, наделите вашего персонажа Джаспера не писательской, а какой-нибудь иной профессией.

Диккенс натужно улыбнулся:

– Я так и сделаю, милейший Уилки.

Он вернулся к своему креслу.

– Как себя чувствуют мисс Тернан и ее мать? – осведомился я.

Диккенс нахмурился, не скрывая своего недовольства. Даже в разговорах со мной любые упоминания об этой сугубо личной, тайной стороне его жизни – сколь бы уместными они ни представлялись и сколь бы остро он ни испытывал потребность выговориться – неизменно приводили моего друга в смущение.

– Мать мисс Тернан практически не пострадала, если не считать нервного потрясения, неблагоприятного для особы столь почтенного возраста, – проскрипел Диккенс, – но сама мисс Тернан получила несколько серьезных ушибов, и доктор подозревает у нее трещину или смещение нижнего шейного позвонка. Ей очень больно поворачивать голову.

– Это весьма прискорбно, – сказал я.

Не добавив более ни слова на сей счет, Диккенс тихо спросил:

– Желаете ли вы услышать обстоятельный рассказ о катастрофе и ее последствиях, дорогой Уилки?

– Безусловно, дорогой Чарльз. Безусловно.

– Вы понимаете, что останетесь единственным человеком, посвященным во все подробности трагического происшествия?

– Вы окажете мне великую честь своим доверием, – промолвил я. – И не сомневайтесь: я буду хранить молчание до гроба.

Наконец-то Диккенс улыбнулся по-настоящему – своей внезапной, уверенной, озорной и немного мальчишеской улыбкой, обнажавшей желтоватые зубы в зарослях бороды, которую он отпустил для роли в моей пьесе «Замерзшая пучина» восемь лет назад и с той поры ни разу не сбривал.

– До вашего или моего гроба, Уилки? – спросил он.

Я растерянно моргнул, на секунду смешавшись.

– До обоих, заверяю вас, – наконец сказал я.

Диккенс кивнул и принялся надтреснутым старческим тенорком рассказывать историю о Стейплхерстской катастрофе.

* * *

– Боже мой! – прошептал я, когда сорока минутами позже Диккенс закончил. – Боже мой!

– Вот именно, – промолвил писатель.

– Эти несчастные люди... – проговорил я голосом почти таким же надломленным, как у Диккенса. – Несчастные люди.

– Просто невообразимо, – повторил Диккенс. Я никогда прежде не слышал от него слова «невообразимо», но сейчас он употребил его раз двадцать по ходу повествования. – Я не забыл упомянуть, что у мужчины, извлеченного нами из огромной груды обломков – беднягу там зажало вверх ногами, – текла кровь из глаз, ушей, носа и рта, пока мы метались в поисках его жены? Похоже, за считанные минуты до катастрофы он поменялся местом с каким-то французом, не желавшим сидеть у открытого окна. Француза мы нашли мертвым. Жена истекающего кровью страдальца тоже погибла.

– Боже мой, – снова прошептал я.

Диккенс на несколько мгновений прикрыл ладонью глаза, словно заслоняясь от света. А затем вновь устремил на меня острый, пристальный взгляд, какого, признаться, я в жизни не видел ни у одного другого человека. Как мы еще не раз убедимся в ходе моей достоверной истории, дорогой читатель, Чарльзу Диккенсу нельзя было отказать в силе воли.

– Что вы думаете об описанном мной загадочном субъекте, назвавшемся Друдом? – спросил Диккенс тихим, но очень напряженным голосом.

– Это что-то совершенно невероятное, – ответил я.

– Значит ли это, милейший Уилки, что вы не верите в существование Друда или в правдивость моего описания?

– Вовсе нет, вовсе нет, – торопливо сказал я. – Я уверен, что вы абсолютно точно обрисовали его внешность и повадки, Чарльз... Среди ныне живущих да и среди погребенных со всеми почестями в Вестминстерском аббатстве литераторов не найдется более прозорливого и искусного живописателя индивидуальных человеческих черт, чем вы, друг мой. Но мистер Друд... это нечто невероятное.

– Вот именно, – кивнул Диккенс. – И теперь наш с вами долг, дорогой Уилки, – разыскать его.

– Разыскать? – тупо повторил я. – Но зачем, скажите на милость?

– С мистером Друдом связана некая тайна, которую необходимо раскрыть, – прошептал Диккенс. – Прошу прощения за торжественную многозначительность сей фразы. Что делал этот человек – если он вообще человек – на фолкстонском курьерском в дневное время? Почему в ответ на мой вопрос он сказал, что направляется в Уайтчепел и трущобы Ист-Энда? Чем он занимался на месте катастрофы?

Я недоуменно уставился на собеседника:

– Но, Чарльз, чем еще он мог заниматься, если не тем же, чем занимались вы сами? Оказывал помощь живым и извлекал из-под обломков мертвых.

Диккенс снова улыбнулся, но без всякой теплоты или веселости:

– Там творились темные дела, дорогой Уилки. Я уверен. Повторяю вам: несколько раз я видел, как Друд – если это настоящее его имя – склоняется над ранеными, а когда позже я подходил к ним, они уже не дышали.

– Но вы говорили также, что несколько пострадавших, кому вы сами оказывали помощь, тоже умерли через считанные минуты.

– Да, – прохрипел Диккенс своим новым, незнакомым голосом, опуская подбородок в стоячий воротник. – Но я не помогал им отправиться в мир иной.

Ошеломленный, я откинулся на спинку кресла.

– О господи! Вы хотите сказать, что ваш трупобразный субъект в оперном плаще... убивал... несчастных жертв катастрофы?

– Я хочу сказать, что там имел место своего рода каннибализм, мой дорогой Уилки.

– Каннибализм!

Впервые за все время разговора я подумал, уж не повредился ли мой друг в уме. Да, внимая рассказу о железнодорожном крушении, я сильно усомнился в достоверности описания и даже в самом факте существования Друда – он казался скорее персонажем дешевого романа ужасов, нежели реальным человеком, какого можно встретить в дневном фолкстонском поезде, – но посчитал, что причина подобной галлюцинации кроется в тяжелом нервном потрясении, от которого Диккенс лишился голоса. Но если речь заходит о каннибализме, не исключено, что он лишился не только голоса, но и рассудка.

Диккенс снова улыбался и смотрел на меня обычным своим пронзительным взглядом, вызывавшим у многих уверенность – во всяком случае, на первых порах знакомства, – что Чарльз Диккенс умеет читать мысли.

– Нет, дорогой Уилки, я не сумасшедший, – тихо промолвил он. – Мистер Друд был столь же материальным, как вы или я, и в каком-то неопределенном смысле даже более странным, чем я описал. Возьмем я желание сделать этого человека персонажем одного из своих романов, я бы не стал описывать его таким, каким увидел в действительности, – для литературного образа у него слишком странные повадки, слишком зловещий вид, слишком гротескная наружность. Но, как вам хорошо известно, подобные фантомные личности существуют в действительности. Их можно встретить в ходе ночных прогулок по Уайтчепелу и прочим трущобным районам Лондона. И зачастую они могут поведать истории более диковинные, чем любой вымысел простого романиста.

Теперь настала моя очередь улыбнуться. Никто никогда не слышал, чтобы Неподражаемый называл себя «простым романистом», и я ни на миг не усомнился, что и сейчас он не сделал этого. Он говорил о других «простых романистах». Возможно, обо мне.

– Ну и какие же шаги вы предлагаете предпринять к розыску вашего мистера Друда, Чарльз? И что мы станем делать, когда установим местонахождение этого господина?

– Помните, мы с вами обследовали дом с привидениями?

Я помнил. Несколько лет назад Диккенс – как главный редактор своего нового журнала «Круглый год», пришедшего на смену «Домашнему чтению» после ссоры моего друга с

издателями, – ввязался в дискуссию со спиритуалистами. В пятидесятые годы все повально увлекались верчением столов, спиритическими сеансами, месмеризмом (который Диккенс не только признавал, но и усердно практиковал) и прочими подобными играми с незримыми энергиями. Но хотя Диккенс верил в месмеризм, или, иначе, животный магнетизм, и в глубине души был суеверен (например, считал пятницу своим счастливым днем), он счел нужным вступить в спор со спиритуалистами. Когда один из его оппонентов, спиритуалист по имени Уильям Хоуитт, в подтверждение своих аргументов подробно рассказал о некоем доме с привидениями в лондонском пригороде Чесхэнт, Диккенс тотчас решил, что нам – редакторам и сотрудникам журнала «Круглый год» – надлежит немедленно туда отправиться и расследовать дело о призраках на месте.

У. Г. Уиллс и я выехали вперед в двухместной карете, но Диккенс и один из наших постоянных сотрудников, Джон Холлингсхед, прошли шестнадцать миль до деревни пешком. После продолжительных блужданий по окрестностям (к счастью, Диккенс, усомнившись в качестве местной пищи, отправил со мной и Уиллсом закуску из свежей рыбы) мы наконец нашли так называемый дом с привидениями и провели остаток дня, расспрашивая о нем соседей, местных лавочников и даже прохожих, но в итоге сошлись во мнении, что «привидения» Хоуитта – это всего лишь крысы да слуга по имени Фрэнк, имевший обыкновение незаконно охотиться на кроликов по ночам.

Тогда, при свете дня и в обществе трех спутников, Диккенс держался довольно смело, но я слышал, что на другую аналогичную вылазку, предпринятую ночью с целью обследовать старое кладбище неподалеку от Гэдсхилл-плейс, по слухам населенное призраками, он отправился в сопровождении нескольких слуг и с заряженным ружьем. Младший сын писателя, носивший семейное прозвище Плорн, рассказывал впоследствии, что отец сильно нервничал и предупредил: «Любому, кто вздумает играть шутки, я отстрелю голову, коли у него таковая имеется». И они действительно услышали потусторонние завывания, стоны, «ужасные звуки – похожие и одновременно непохожие на человеческий голос». Это оказалась страдающая астмой овца. Диккенс не стал отстреливать голову бедному животному. По возвращении домой он угостил всех – и слуг, и детей – разбавленным водой ромом.

– Тогда мы знали, где находится дом с привидениями, – указал я Диккенсу. – Но как мы найдем мистера Друда? Где станем искать, Чарльз?

Внезапно у Диккенса изменились выражение и самый облик лица – оно словно вытянулось, сморщилось и побледнело пуще прежнего. Глаза расширились до такой степени, что верхних век стало не видно и белки жутковато заблестели в свете лампы. Он сильно ссутулился, приняв позу то ли согбенного летами старца, то ли притаившегося во тьме грабителя могил, то ли нахохлившегося канюка. Голос его, по-прежнему скрипучий, зазвучал тонко и пронзительно, с резким присвистом, когда он заговорил, шевеля в воздухе длинными бледными пальцами, точно чернокнижник, читающий заклинания.

– Лаймхаус-с-с, – прошипел Диккенс, изображая Друда из своей истории. – Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фоксес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трупп-щ-щобы.

Признаться, по спине у меня побежали мурашки. В отроческом возрасте, еще до начала своей писательской карьеры, Чарльз Диккенс обнаруживал столь незаурядные имитаторские способности, что отец ходил с ним по трактирам, где он изображал местных жителей, встреченных во время прогулок. В тот момент я начал верить в существование таинственного субъекта по имени Друд.

– Когда? – спросил я.

– С-с-скоро, – с присвистом произнес Диккенс, но уже приняв обычный свой облик и озорно улыбаясь. – Прежде мы с вами уже совершали подобные экскурсии в «Вавилон», милейший Уилки. Мы видели «гигантское пекло» в ночное время.

Да, верно. Лондонская клоака всегда вызывала у него живейший интерес. А «Вавилон» и «гигантское пекло» были его излюбленными словечками для обозначения самых грязных городских трущоб. Наши с Диккенсом ночные вылазки в темные лабиринты нищих улочек, тесно застроенных съемными лачугами, до сих пор сняты мне в кошмарных снах.

— Я полностью в вашем распоряжении, дорогой Диккенс, — с энтузиазмом сказал я. — И явлюсь для исполнения обязанностей завтра же вечером, коли вам угодно.

Мой друг помотал головой:

— Мне нужно восстановить голос, дорогой Уилки. Я запаздываю с последними выпусками «Нашего общего друга». И в ближайшие дни должен сделать еще много разных дел, помимо исцеления упомянутого выше «пациента». Вы останетесь на ночь, сэр? Ваша комната готова принять вас, как всегда.

— Увы, не могу, — сказал я. — Мне необходимо вернуться в город сегодня же. У меня там важные дела.

Я не стал уточнять, что мои «важные дела» сводятся главным образом к пополнению запасов лауданума — лекарства, без которого даже тогда, в 1865 году, я не мог прожить ни дня.

— Хорошо, — промолвил он, вставая с кресла. — Могу ли я попросить вас о большом одолжении, Уилки?

— Все, что угодно, дорогой Диккенс, — живо откликнулся я. — Приказывайте, и я повинуюсь, друг мой.

Диккенс взглянул на свой хронометр:

— Вы уже опаздываете на ближайший поезд, делающий остановку в Грейвсенде, но, если Чарли заложит двуколку, мы доставим вас в Хайэм ко времени отправления курьерского, идущего на вокзал Чаринг-Кросс.

— Я еду на вокзал Чаринг-Кросс?

— Да, дорогой Уилки, — ответил Диккенс, крепко сжимая мое плечо; мы вышли из темного кабинета в более светлую прихожую. — По дороге к станции я объясню вам почему.

* * *

Джорджина не вышла с нами из дома, но Неподражаемый послал за двуколкой своего старшего сына Чарли, гостившего тогда в Гэдсхилле. На переднем дворе царил образцовый порядок, как повсюду во владениях писателя: алые герани, любимые цветы Диккенса, посаженные ровными рядами; два огромных ливанских кедра, растущие сразу за аккуратно подстриженной лужайкой и сейчас отбрасывающие тени на восток вдоль дороги.

Что-то в длинных рядах гераней, между которыми мы шагали, направляясь к Чарли и двуколке, вдруг вызвало у меня смутное беспокойство. У меня учащенно забилося сердце и похолодела спина. Спустя несколько мгновений я осознал, что Диккенс разговаривает со мной.

— ...Сразу после катастрофы я отвез его на санитарном поезде в гостиницу «Чаринг-Кросс», — говорил он. — Я заплатил двум сиделкам, чтобы они находились с ним днем и ночью, ни на минуту не оставляя одного. Я буду премного вам благодарен, милейший Уилки, если вы зайдете к нему нынче вечером, передадите поклон от меня и скажете, что я сам навещаю к нему сразу, как только найду в себе силы выбраться в город, — скорее всего, завтра. Если сиделки доложат, что его состояние ухудшилось, вы окажете мне великую услугу, коли при первой же возможности отправите в Гэдсхилл посыльного с сообщением.

— Конечно, Чарльз, — откликнулся я.

По всей видимости, речь шла о юноше, которого Диккенс помог вытащить из разбитого вдребезги вагона, а потом самолично доставил в гостиницу у вокзала Чаринг-Кросс. О

юноше по имени Диккенсон. Эдмонд или Эдвард Диккенсон, насколько я помнил. Довольно необычное совпадение, если подумать.

Когда мы покатались по подъездной аллее, прочь от алых гераней, необъяснимое паническое чувство исчезло так же быстро, как появилось.

Легкая рессорная коляска была рассчитана на двоих, но Диккенс втиснулся в нее вместе со мной и Чарли. Молодой человек тронул малорослую лошадку с места, и мы выехали на Грейвсенд, а потом повернули на Рочестер-роуд, ведущую к станции Хайэм. Времени до поезда оставалось предостаточно.

Поначалу Диккенс держался самым непринужденным образом, болтая со мной о разных мелочах, связанных с изданием нашего журнала, но когда двуколка набрала скорость, равняясь на другие бегущие по дороге экипажи, и далеко впереди уже показалась станция Хайэм, лицо писателя, все еще загорелое после отдыха во Франции, сперва побледнело, а потом приобрело землистый оттенок. На висках и щеках у него выступили бисеринки пота.

– Пожалуйста, помедленнее, Чарли. И не раскачивай повозку. Это страшно действует на нервы.

– Хорошо, отец.

Чарли натянул поводья, и лошадка перешла с рыси на резвый шаг.

Я заметил, как бескровные губы Диккенса сжимаются в нитку.

– Помедленнее, Чарли. Бога ради, не так быстро.

– Хорошо, отец.

Чарли в свои без малого тридцать лет походил на испуганного мальчишку, когда бросил взгляд на отца, который сейчас вцепился обеими руками в борт кузова и без всякой необходимости подался всем корпусом вправо.

– Пожалуйста, помедленнее! – выкрикнул Диккенс.

Теперь коляска двигалась со скоростью пешего шага – причем отнюдь не быстрого ровного шага, каким Диккенс мог ежедневно проходить (и проходил) по двенадцать, шестнадцать и даже двадцать миль, покрывая по четыре мили в час.

– Мы не успеем к поезду... – начал Чарли, взглядывая сначала вперед, на отдаленные шпили и башню вокзала, а потом на часы.

– Остановись! Дай мне выйти, – приказал Диккенс. Лицо у него стало серым, как хвост нашего пони. Он с трудом вылез из двуколки и торопливо пожал мне руку. – Я пойду обратно пешком. По такой погоде прогуляться – одно удовольствие. Желаю благополучно добраться до города – и, пожалуйста, пришлите мне весточку нынче же вечером, если молодой Диккенсон в чем-нибудь нуждается.

– Непременно, Чарльз. До скорой встречи.

Обернувшись в последний раз, я не узнал Диккенса со спины: он казался гораздо старше своих лет и шагал не обычной своей уверенной скорой поступью, а еле плелся по обочине, тяжело опираясь на трость.

Глава 3

Каннибализм.

Сидя в поезде, идущем на вокзал Чаринг-Кросс, я размышлял об этом странном, диком понятии и явлении, уже пагубно повлиявшем на жизнь Чарльза Диккенса. (Тогда я не имел понятия, сколь ужасным образом – и очень скоро – оно повлияет на мою жизнь.)

В силу какой-то своей психологической особенности Чарльз Диккенс всегда испытывал нездоровый интерес к каннибализму в прямом и переносном смысле слова. В ходе своего публичного расставания с Кэтрин и сопутствующего скандала, который он старательно раздувал и предавал гласности (хотя сам он никогда не признал бы данного факта), писатель неоднократно говорил мне: «Они едят меня заживо, Уилки. Мои враги, семейка Хогарт, введенная в заблуждение общественность, желающая верить в самое худшее, – все они пожирают меня кусок за куском».

В течение последних десяти лет Диккенс часто приглашал меня с собой в Лондонский зоологический сад, в каковых походах неизменно находил огромное наслаждение. Но как бы он ни любил наблюдать за семейством гиппопотамов, экзотическими птицами в вольере и львами в клетке, главной целью для него всегда оставалось посещение террариума в час кормления рептилий. Диккенс ни разу не пропустил этого действия и постоянно торопил меня, чтобы поспеть ко времени. Рептилий – а именно змей – кормили мышами и крысами, и это зрелище, казалось, гипнотизировало моего друга (который, будучи сам гипнотизером, решительно противился всякому гипнозу). В такие минуты он застывал, словно пригвожденный к месту. И не единожды, сидя со мной в экипаже, в театре перед началом спектакля или даже в собственной своей гостиной, Диккенс вспоминал вслух, как зачастую две змеи одновременно набрасывались с разных сторон на крысу, а несчастный грызун продолжал судорожно бить по воздуху всеми четырьмя лапами, когда его голова и хвост уже скрывались в змеиных пастьях с мощными челюстями, неумолимо двигавшихся навстречу друг другу.

Всего за несколько месяцев до Стейплхерстской катастрофы Диккенс по секрету признался мне, что ножки ванны, столов, кресел и даже толстые шнуры портьер у него в доме представляются ему змеями, медленно пожирающими ванну, столешницы, кресельные сиденья и занавеси соответственно. «Когда я не смотрю, дом пожирает сам себя, дорогой Уилки», – сказал мне мой друг как-то за пуншем. Он также сказал, что часто на разных банкетах (как правило, банкетах в его честь) он вдруг окидывает взглядом сидящих за длинным столом соратников, друзей и коллег, поглощающих куски телятины, баранины или курятины, и на мгновение, на одно ужасное мгновение ему чудится, будто все они подносят ко рту судорожно дергающиеся конечности. Но конечности не мышинные и не крысиные, а... человеческие. Диккенс сказал, что подобные видения... ну, сильно действуют на нервы.

Но именно каннибализм в подлинном смысле слова (или, во всяком случае, устойчивые слухи о нем) изменил ход жизни Чарльза Диккенса одиннадцать лет назад.

В октябре 1854-го вся Англия содрогнулась, прочитав отчет доктора Джона Рэя о находках, обнаруженных в ходе поисков пропавшей экспедиции Франклина.

Если вы никогда не слышали об экспедиции Франклина, дорогой читатель далекого будущего, мне надлежит сказать лишь, что в 1845 году сэр Джон Франклин со ста двадцатью девятью людьми предпринял попытку исследования Арктики на двух кораблях Британского военно-морского флота – «Эребус» и «Террор». Они отплыли в мае 1845-го. Главной их задачей было пройти по Северо-Западному проходу, соединяющему Атлантический и Тихий океаны (Англия всегда мечтала о новых и более коротких торговых путях на Дальний Восток). Франклин, самый старший участник экспедиции, был опытным путешественником, и все с уверенностью рассчитывали на успех смелого предприятия. В последний раз «Эребус» и

«Террор» видели в Баффиновом заливе в конце лета 1845-го. Через три или четыре года, в течение которых от Франклина и его людей не поступило ни единой весточки, даже командование Военно-морского флота забеспокоилось и снарядило несколько спасательных экспедиций. Но корабли так до сего дня и не найдены.

И парламент, и леди Франклин назначили огромное вознаграждение. Поисковые экспедиции – не только из Британии, но также из Америки и других стран – исходили Арктику вдоль и поперек в попытках найти Франклина и его людей или по крайней мере какие-нибудь свидетельства, дающие представление об участи, их постигшей. Леди Франклин твердо верила, что ее муж и команды обоих кораблей по-прежнему живы, и почти никто из правительства и флотского командования не решался переубедить ее, даже когда большинство англичан оставили всякую надежду.

Доктор Джон Рэй, служащий торговой Компании Гудзонова залива, совершил сухопутную экспедицию в Северное Заполярье и на протяжении нескольких сезонов исследовал удаленные от материка острова (там нет ничего, кроме мерзлого гравия да бесконечных выюг) и обширные пространства арктического ледового панциря, где бесследно сгинули «Эребус» и «Террор». В отличие от британских моряков и большинства других спасателей, Рэй жил в разных эскимосских племенах, овладел примитивными местными наречиями и в своем отчете процитировал показания многих аборигенов. Он привез из путешествия различные предметы – медные пуговицы, фуражки, столовые блюда с полустертым гербом сэра Джона, письменные инструменты, – принадлежавшие Франклину и прочим участникам экспедиции. Под конец Рэй обнаружил останки человеческих тел, как захороненных в мелких могилах, так и непогребенных, – в том числе два скелета, сидящих в корабельной шлюпке, установленной на санях.

Англию потрясли не только эти страшные доказательства гибели франклиновской экспедиции, но и представленные Рэем свидетельства эскимосов, из которых следовало, что Франклин и его люди не просто погибли, а еще и предавались каннибализму в последние дни своей жизни. Дикари рассказали Рэю, что не раз наталкивались на стоянки белых людей, где находили обглоданные человеческие кости, груды отрубленных конечностей и даже высокие сапоги с сохранившимися в них ступней и голенью.

Разумеется, леди Франклин пришла в ужас и решительно отказалась принимать на веру отчет Рэя (она даже снарядила на собственные средства очередной корабль, чтобы возобновить поиски мужа). Чарльза Диккенса тоже ужаснула – и чрезвычайно возбудила – мысль о каннибализме.

Он начал публиковать статьи о предполагаемой трагедии не только в своем журнале «Домашнее чтение», но и в других изданиях. На первых порах он просто выражал сомнения и заявлял, что доктор Рэй «поторопился с выводом, будто участники экспедиции поедали тела умерших товарищей». Он просмотрел «уйму книг», говорил Диккенс (хотя не уточнял, каких именно), и утвердился в своем мнении, что «бедным людям Франклина и в голову не могла прийти мысль о поедании своих умерших товарищей».

Когда все англичане начали либо верить в истинность представленного Рэем отчета (он потребовал-таки у правительства вознаграждение за неопровержимые доказательства факта гибели франклиновской экспедиции), либо забывать прискорбную историю, диккенсовские возражения приобрели яростный характер. В «Домашнем чтении» он обрушился с убийственной критикой на «дикарей» – так он называл всех людей с небелым цветом кожи, но в данном случае коварных, лживых, не заслуживающих доверия эскимосов, с которыми жил и общался Рэй. В наше время Диккенс считался крайним либералом, но почему-то никто не усомнился в его либерализме, когда он, выступая от лица английской нации, заявил: «...по нашему твердому убеждению, все дикари в глубине души трусливы, вероломны и жестоки». Такого просто быть не может, утверждал он, чтобы хоть один из людей сэра Джона Фран-

клина «для продления своего существования прибег к столь чудовищной мере, как поедание тел погибших товарищей...»

В доказательство своей точки зрения наш друг привел чрезвычайно странный довод. Из всей просмотренной «уймы книг» он выбрал в качестве авторитетного источника «Сказки 1001 ночи» – одну из книг, оказавших на него самое сильное влияние в детстве, как он неоднократно говорил мне, – и в заключение статьи написал: «В обширном цикле „Сказок 1001 ночи“ только вампиры, чернокожие одноглазые великаны, громадные чудовища ужасной наружности и богомерзкие твари, украдкой выползающие на морской берег... прибегают к поеданию человеческой плоти, или каннибализму».

Вот вам и пожалуйста. *Quod erat demonstrandum*.¹

* * *

В 1856 году борьба Диккенса против гипотезы о каннибализме среди благородной команды сэра Джона Франклина приняла новую форму – и я оказался непосредственно причастен к делу.

Во время нашего совместного пребывания во Франции (в таких поездках Диккенс неизменно называл меня «мой порочный друг», а наши прогулки по Парижу «опасными вылазками», хотя при всем своем интересе к ночной жизни города и молоденьким актрисам он никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения, в отличие от меня) Диккенс предложил мне написать пьесу для постановки в домашнем театре в Тэвисток-хаусе. Драму о пропавшей арктической экспедиции вроде франклиновской, воспевающую мужество и доблесть англичан. А также повествующую о любви и самопожертвовании.

– Почему бы вам самому не написать ее, Чарльз? – естественно, спросил я.

Он просто не может. Он начинает работу над «Крошкой Доррит», выступает с публичными чтениями, издает свой журнал... Нет, пьесу должен написать я. Диккенс предложил название «Замерзшая пучина», поскольку история будет не только о ледяной пустыне, но и о сокровенных глубинах человеческой души. Он пообещал помочь мне со сценарием и «подредактировать текст», из чего я тотчас заключил, что автором будет он, а я – просто механизмом для запечатления слов на бумаге.

Я согласился.

Мы начали работать над «Замерзшей пучиной» в Париже – вернее, это я начал работать, пока Диккенс бегал по званым обедам, банкетам и прочим светским мероприятиям. К концу жаркого лета 1856 года мы оба вернулись в Лондон, и я остановился в Тэвисток-хаусе. Наши привычки, писательские и человеческие, не всегда совпадали. Во Франции я засиживался в казино далеко за полночь, а Диккенс имел стойкое обыкновение завтракать между восемью и девятью. Мне не раз приходилось завтракать гусиным паштетом в одиночестве около полудня. И в Тэвисток-хаусе, и позже в Гэдсхилле Диккенс неизменно работал с девяти утра до двух-трех часов пополудни, и все до единого в доме, члены семьи и гости, тоже должны были заниматься какими-нибудь делами в течение этого времени. Я часто наблюдал, как дочери Диккенса или Джорджина притворяются, будто вычитывают корректурные оттиски, пока писатель сидит в своем кабинете за закрытой дверью. Тогда (еще до появления второго Уилки Коллинза, исполненного решимости занять мое место за письменным столом) я предпочитал работать по ночам, а потому мне приходилось искать убежище в библиотеке, где я мог выкурить сигару и соснуть днем. Нередко Диккенс неожиданно выходил из своего кабинета, вытаскивал меня из моего укрытия и заставлял вернуться к работе.

¹ Что и требовалось доказать (*лат.*).

Моя работа – наша работа – над драмой продолжалась всю осень. По моей задумке главный герой, Ричард Уорддор (играть его предстояло Диккенсу, разумеется), должен был сочетать в себе черты неукротимого сэра Джона Франклина и его заместителя, довольно заурядного ирландца по имени Френсис Крозье. Я намеревался вывести Уорддора пожилым мужчиной, не очень компетентным (в конце концов, все участники франклиновской экспедиции погибли) и слегка помешанным. Возможно даже, до известной степени персонажем отрицательным.

Диккенс полностью отверг мой замысел и превратил Ричарда Уорддора в молодого человека, обладающего ясным, острым умом, сложным характером и вспыльчивым нравом, но готового (как показывается в конце пьесы) на жертвенный подвиг. «Всю жизнь искавший истинную любовь, но так и не нашедший», – среди всего прочего писал Диккенс в пространных заметках по поводу образа главного героя. Он сочинил множество монологов Уорддора, но не показывал их мне вплоть до последних наших репетиций (да, я играл одну из главных ролей в этом любительском спектакле). Во время визитов в Тэвисток-хаус я часто видел, как Диккенс отправляется на свою двадцатимильную прогулку по окрестным полям или возвращается с нее, зычным голосом репетируя монологи Уорддора собственного сочинения: «Юная девушка с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Юная, любящая и милосердная. Я храню сей образ в памяти, хотя все прочие воспоминания померкли. Я буду бесприютно странствовать по свету, не ведая сна и покоя, куда не найду ее!»

Задним числом легко понять искренность и глубину чувств, владевших Диккенсом в тот год, когда его супружеская жизнь близилась к концу (причем по его воле). Писатель всю жизнь ждал и искал такую вот юную особу с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Для Диккенса мир грез всегда был более реальным, чем повседневная действительность, и он с самой юности рисовал в своем воображении эту непорочную, заботливую, молодую, красивую (и милосердную) женщину.

Премьера моей пьесы состоялась в Тэвисток-хаусе 6 января 1857 года – в канун Крещения, по случаю которого Диккенс всегда устраивал какие-нибудь особые мероприятия, и в день рождения его сына Чарли. Писатель не пожалел трудов, чтобы приблизить любительскую постановку к профессиональному уровню: приказал плотникам переоборудовать классную комнату в театральный зал, способный вместить свыше пятидесяти зрителей, распорядился снести имевшуюся там маленькую сцену и построить полноразмерную в широком эркере; заказал музыку к спектаклю и нанял оркестр; пригласил профессиональных оформителей, чтобы они спроектировали и изготовили сложные декорации; потратил целое состояние на костюмы (позже он хвастался, что мы, «полярные путешественники» из постановки, запросто могли бы отправиться из Лондона напрямик на Северный полюс в нашем настоящем арктическом обмундировании); самолично проследил за установкой осветительных приборов и изобрел затейливые световые эффекты для воспроизведения причудливой атмосферы полярных дней, сумерек и ночей.

Сам Диккенс привнес странную, напряженную, сдержанную, но невероятно мощную страстность в эту сугубо мелодраматическую роль. Писатель заранее предупредил, что в сцене, когда несколько из нас пытаются удержать «Уорддора», убегающего за кулисы в приступе душевной муки, он «намерен драться по-настоящему» и нам придется напрячь все силы, чтобы остановить его. Как оказалось, он еще мягко выразился. Несколько актеров наполучали синяков и шишек еще в ходе репетиций. Сын Диккенса Чарли позже писал моему брату: «В какой-то момент он увлекался до такой степени, что нам действительно приходилось драться, точно профессиональным боксерам. Что же касается до меня, то я,

будучи предводителем группы нападавших, неизменно оказывался в самой гуще потасовки и два или три раза был избит до синяков еще до премьеры».

Перед первым показом спектакля наш общий друг Джон Форстер прочитал пролог, который Диккенс написал в последний момент, по своему обыкновению пытаюсь растолковать всем, что он сравнивает сокрытые глубины человеческой души с ужасной замерзшей пучиной Арктики:

...чтоб заключенную в нас бездну,
Закованную в панцирь ледяной,
Исследовать пытливою рукой
И к полюсу души найти проход,
Тьму разгоняя, растопляя лед, —
Познать, прозрев бездонные глубины,
В нас скрытую «Замерзшую пучину».

По прибытии поезда в Лондон я отправился на Чаринг-Кросс не сразу.

Жизнь мне издавна отравляла – отравляет ныне и будет отравлять до скончания моих дней – ревматоидная подагра. Иногда она обостряется в ноге. Чаше перемещается в голову и гнездится, подобно раскаленному железному штырю, за правым глазом. Я справляюсь с постоянной болью (а она действительно не проходит ни на минуту) благодаря силе характера. И еще с помощью опиума в форме лауданума.

В тот день, прежде чем выполнить поручение Диккенса, я взял на вокзале кеб – идти пешком я уже не мог – и доехал до аптекарской лавки, расположенной рядом с моим домом. Аптекарь там (как и многие другие его коллеги в Лондоне и других городах) знал о моей беспрестанной борьбе с физическими страданиями и продавал мне болеутоляющее средство в количествах, какие обычно предназначаются для практикующих врачей, то есть бутылками.

Осмелюсь предположить, дорогой читатель, что в ваше время лауданум по-прежнему используется – если только медицина не изобрела широкодоступный препарат, действующий еще эффективнее. Но на случай, если я ошибаюсь, позвольте мне сказать несколько слов об этом лекарстве.

Лауданумом называется спиртовая настойка опиума. На первых порах болезни я – по совету моего врача и друга Фрэнка Берда – просто разводил четыре капли опиума в половине или целом бокале красного вина. Потом доза увеличилась до восьми капель. Потом я начал принимать по восемь-десять капель опиума с вином два раза в день. В конце концов я обнаружил, что готовый препарат под названием лауданум, состоящий из равных частей опиума и спирта, утоляет невыносимую боль гораздо эффективнее. В последние месяцы у меня выработалась привычка – видимо, пожизненная – пить неразбавленный лауданум из стакана или прямо из бутылки. Признаться, когда однажды я у себя дома осушил целый стакан лекарства в присутствии знаменитого хирурга сэра Уильяма Фергюссона – не сомневаясь, что уж он-то всяко поймет необходимость подобной меры, – почтенный доктор потрясенно воскликнул, что такого количества лауданума хватило бы, чтобы убить всех сидящих за столом. (Тогда в гостях у меня находились восемь мужчин и одна женщина.) После того случая я стал скрывать, в каких дозах принимаю препарат, хотя никогда не утаивал, что употребляю спасительный наркотик.

Прошу вас понять, дорогой читатель моего посмертного будущего: в нынешнее время лауданум принимают все. Или почти все. Мой отец, не доверявший никаким медикаментам, в последние дни своей жизни поглощал в огромных количествах микстуру Бэттли, представляющую собой крепкую настойку опиума. (А я уверен, что мои подагрические боли по меньшей мере столь же нестерпимы, как предсмертные муки, которые он испытывал.) Я помню,

как поэт Кольридж, близкий друг моих родителей, слезно жаловался на свое болезненное пристрастие к опиуму, и помню, как моя мать предостерегала его против злоупотребления наркотиком. Но я также всегда напоминал нескольким своим друзьям, бестактно порицавшим мою зависимость от спасительного лекарства, что сэр Вальтер Скотт принимал лауданум в изрядных дозах, когда писал «Ламмермурскую невесту», а такие наши с Диккенсом современники, как наш добрый приятель Бульвер-Литтон и Де Куинси, употребляли препарат в гораздо больших количествах, нежели я.

Зная, что Кэрлайн и ее дочери Хэрриет сейчас нет в городе, я из аптеки заехал к себе домой (в один из двух своих лондонских особняков, расположенный по адресу Мелкомб-плейс, девять, Дорсет-Сквер) и там спрятал под замок новую бутылку лауданума, предварительно выпив два полных стакана.

Через несколько минут я снова стал самим собой – в той мере, в какой можно стать самим собой, когда подагрическая боль все еще стучит в окна и скребется в двери твоей телесной оболочки. Во всяком случае, после приема опиата боль несколько утихла и ко мне вернулась ясность мысли.

Я взял наемный экипаж и поехал на Чаринг-Кросс.

* * *

«Замерзшая пучина» имела огромный успех.

Действие первого акта происходит в Девоне, где прелестная Клара Бернем (ее играла самая привлекательная из дочерей Диккенса, Мейми) терзается страхом за своего удалого жениха Фрэнка Олдерсли (чью роль исполнял я, тогда только-только отпустивший бороду, которую ношу и поныне). Олдерсли покинул Англию в составе полярной экспедиции, посланной, как и реальная экспедиция сэра Джона Франклина, на поиски Северо-Западного морского пути, и оба корабля – «Уондерер» и «Си-Мью» – исчезли свыше двух лет назад. Клара знает, что начальником экспедиции является капитан Ричард Уорддор, чье предложение о браке она отвергла. Уорддор не знает личности соперника, снискавшего любовь Клары после него, но поклялся убить его при первой же встрече. Мой персонаж, Фрэнк Олдерсли, в свою очередь даже не догадывается о любви Ричарда Уорддора к своей невесте.

Клара понимает, что два корабля почти наверняка затерты льдами где-то в Арктике, и содрогается до глубины души при мысли, что два влюбленных в нее мужчины могут случайно узнать о своем соперничестве. Таким образом, бедная Клара не только мучается тревогой за возлюбленного, который может пострадать от лютого арктического холода, свирепых белых медведей и жестоких дикарей, но также изнывает от ужаса, представляя, что может сделать Ричард Уорддор с ее дорогим Фрэнком, коли узнает правду.

Кларе отнюдь не становится легче, когда ее няня Эстер, обладающая даром ясновидения, рассказывает о своем кровавом видении в час багрового девонского заката. (Как я упомянул выше, Диккенс не пожалел трудов, чтобы создать в своем маленьком домашнем театре в Тэвисток-хаусе световые эффекты, реалистично воспроизводящие природное освещение в любое время суток.)

«Я вижу ягненка в когтях у льва... – сдавленным голосом говорит няня Эстер в ясно-видческом трансе. – Твой пригожий голубок остался один на один с хищным ястребом... я вижу, как ты и все вокруг горько плачут... Кровь! Я вижу пятно на твоем платье... О дитя мое, дитя мое... то пятно крови!»

* * *

Молодого человека звали Эдмонд Диккенсон.

Диккенс сказал, что снял для него комнату в отеле «Чаринг-Кросс», но на самом деле это оказались просторные апартаменты. Пожилая и не очень привлекательная сиделка, дежурившая в гостиной, провела меня к пострадавшему.

Диккенс столь подробно рассказывал об усилиях, потребовавшихся для извлечения мистера Диккенсона из-под груды обломков, и столь красочно описывал окровавленные, изодранные одежды несчастного, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, что я ожидал увидеть на кровати сплошь обмотанный бинтами полутруп с заключенными в гипсовые лубки и подвешенными на растяжках конечностями. Но молодой Диккенсон, облаченный в пижаму и халат, сидел в постели с книгой, когда я вошел. На комод и ночных столиках стояли цветы в вазах, в том числе букет алых гераней, вызвавший у меня слабое подобие панического чувства, испытанного мной во дворе Гэдсхилл-плейс.

Диккенсон оказался круглолицым, розовощеким молодым человеком лет двадцати, с жидкими рыжеватыми волосами, уже редющими над розовым лбом, с голубыми глазами и изящно вырезанными ушами, похожими на крохотные морские раковины.

Я представился, объяснил, что мистер Диккенс прислал меня справиться о самочувствии пострадавшего, и премного изумился, когда Диккенсон с энтузиазмом выпалил:

– О мистер Коллинз! Визит столь знаменитого писателя – великая честь для меня! Мне очень понравилась ваша «Женщина в белом», печатавшаяся выпусками в «Домашнем чтении» сразу после «Повести о двух городах» мистера Диккенса!

– Благодарю вас, сэр, – промолвил я, чуть не зардевшись от комплимента; действительно, «Женщина в белом» пользовалась огромным успехом и обеспечила более высокие продажи журнала, чем большинство романов Диккенса. – Приятно слышать, что скромные плоды моих трудов пришлись вам по душе, – добавил я.

– О да, роман превосходный, – сказал молодой Диккенсон. – Вам очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс.

Я уставился на него с каменным лицом, но мое холодное молчание осталось незамеченным, ибо Диккенсон возбужденно заговорил о Стейплхерстской катастрофе, кошмарных последствиях крушения и о невероятном мужестве и великодушии Чарльза Диккенса.

– Уверен, я не сидел бы сейчас здесь перед вами, если бы мистер Диккенс не нашел меня под грудой обломков, – я висел вниз головой и едва дышал, мистер Коллинз! И он ни на шаг не отходил от меня, покуда не призвал на помощь кондукторов, дабы извлечь меня из вагона, и не проследил за тем, чтобы они отнесли меня к железнодорожному полотну, где раненых готовили к эвакуации. Мистер Диккенс неотступно находился рядом со мной в санитарном поезде, а по прибытии в Лондон – как вы сами видите! – настоял на том, чтобы поселить меня в этом прекрасном номере и приставить ко мне сиделок до полного моего выздоровления.

– Вы серьезно пострадали? – осведомился я совершенно бесстрастным тоном.

– О нет, ничуть! Отделался синяками да шишками – спина, грудь, ноги и левая рука сплошь черные. Я три дня не вставал, но сегодня сиделка помогла мне дойти до туалета и обратно, каковой поход оказался мне вполне по силам!

– Я очень рад, – промолвил я.

– Я собираюсь отправиться домой завтра, – продолжал трещать юноша. – Я никогда не смогу отблагодарить мистера Диккенса за великодушие. Он поистине спас мне жизнь! И он пригласил меня к себе в Гэдсхилл на Новый год!

На дворе стояло двенадцатое июня.

– Замечательно, – сказал я. – Уверен, Чарльз высоко ценит жизнь, в спасении которой участвовал. Так, значит, вы собираетесь домой завтра, мистер Диккенсон. Можно ли поинтересоваться, где вы живете?

Диккенсон снова затараторил. Он круглый сирота (особо любимый Чарльзом Диккенсом человеческий тип, если судить по «Оливеру Твисту», «Дэвиду Копперфилду» или «Холодному дому»), но еще в детстве унаследовал состояние через замысловатые хитро-сплетения родственно-наследственных связей и был поручен заботам пожилого опекуна, по сей день проживающего в чудесном нортгемптонширском поместье, которое вполне могло бы послужить прототипом Чесни-Уолда.² В настоящее время, однако, молодой Диккенсон предпочитает жить в скромных наемных комнатах в Лондоне, один. Он почти (или вовсе) ни с кем не водит знакомства, учится игре на разных музыкальных инструментах, не имея намерения заниматься музыкой всерьез, и осваивает разные профессии, не собираясь применять на практике приобретенные навыки. Дохода с капитала вполне хватает на еду, книги, походы в театр и поездки к морю – он живет в свое удовольствие.

Мы поговорили о театре и литературе. Выяснилось, что молодой мистер Диккенсон – подписчик не только нынешнего диккенсовского журнала «Круглый год», но и предыдущего, «Домашнее чтение», – читал мой рассказ «Странная кровать» и остался от него в восторге.

– Господи! – воскликнул я. – Да ведь он печатался почти пятнадцать лет назад! Вам тогда было, наверное, лет пять, не больше!

Молодой Диккенсон покраснел: сначала у него загорелись маленькие раковиноподобные уши, потом зарделись щеки, а потом румянец, подобно розовому плющу, поднялся по вискам и разлился по широкому бледному лбу, расплзшись даже под редкими соломенными волосами.

– На самом деле семь, сэр, – сказал сирота. – Но мой опекун, мистер Уотсон – либерально настроенный член парламента, – держал в своей библиотеке переплетенные подшивки «Панча» и журналов вроде «Домашнего чтения». Моя любовь к литературе зародилась и окрепла именно там.

– Вот как, – сказал я. – Очень интересно.

Пятнадцать лет назад мое поступление на должность сотрудника «Домашнего чтения» означало для меня просто-напросто дополнительные пять фунтов в неделю. Но для этого сироты оно, похоже, имело огромное значение. Он чуть ли не наизусть знал мою книгу «Под покровом тьмы» и почтительно изумился, когда я сказал, что почти все рассказы из сборника основаны на дневниковых записях моей матери и литературно обработанной рукописи, где она вспоминает о своем браке со знаменитым художником.

По ходу разговора выяснилось, что тринадцатилетний Эдмонд Диккенсон ездил со своим опекуном в Манчестер, чтобы увидеть спектакль «Замерзшая пучина», дававшийся в огромном зале Фри-Трейд-Холла 21 августа 1857 года.

* * *

Действие второго акта «Замерзшей пучины» происходит в Арктике, где Уордор (Диккенс) обсуждает со своим заместителем, капитан-лейтенантом Крейфордом, скудные шансы на выживание в условиях голода и холода.

«Никогда не идите на поводу у желудка, и в конечном счете ваш желудок полностью подчинится вам», – говорит бывалый путешественник Крейфорду. Такая сильная воля, не признающая над собой ничьей власти, присуща не только персонажу, созданному пером Диккенса, но и самому писателю.

Далее Уордор объясняет, что любит арктическую пустыню именно потому, что «здесь нет женщин». В этом же акте он восклицает: «Я готов принять любые обстоятельства, воздвигающие крепостные валы лишений, опасностей и тяжкого труда между мной и моим

² Поместье из вышеупомянутого романа «Холодный дом».

душевным страданием... Тяжкий труд, Крейфорд, вот истинный эликсир жизни!» И под конец говорит: «...поистине несчастным мужчину может сделать только женщина».

«Замерзшая пучина» считалась моей пьесой – на театральной афише я значился в качестве автора (а равно исполнителя одной из ролей). Но почти все монологи Уордора были написаны или переписаны Чарльзом Диккенсом.

Мысли и чувства, в них выраженные, нисколько не походили на мысли и чувства человека, счастливого в браке.

В конце второго акта двое участников экспедиции отправляются в поход по ледовой пустоши в поисках последнего шанса на спасение затертых льдами кораблей. Они должны преодолеть тысячу миль замерзшей пучины. Этими двоими являются, само собой, Ричард Уордор и его удачливый соперник в любви Фрэнк Олдерсли. (Кажется, я уже упоминал, что мы с Диккенсом оба отпустили бороду для роли.) Второй акт заканчивается сценой, где Уордор узнает, что раненый, изнуренный голодом, еле живой от слабости Олдерсли и есть злейший его враг, которого он поклялся убить при первой же встрече.

* * *

– Вы, случайно, не видели на месте крушения некоего господина по имени Друд? – спросил я Эдмонда Диккенсона, когда молодой болван наконец умолк.

– Друд, сэр? Честно говоря, не припоминаю. Мне помогало очень много людей, и я никого из них не знаю по имени – за исключением нашего замечательного мистера Диккенса.

– Похоже, этот господин обладает весьма незаурядной наружностью.

Я перечислил особые приметы, упомянутые Диккенсом при описании Призрачного Месмериста: черный шелковый плащ и цилиндр, беспальные руки, безвекие глаза, гротескно короткий нос, мертвенная бледность, лысина, обрамленная бахромой сивых волос, жутковатый пристальный взгляд, странная скользящая походка, речь с присвистом и иностранный акцент.

– О боже, нет! – воскликнул молодой Диккенсон. – Такого человека я бы точно запомнил. – Потом взгляд его словно обратился вовнутрь – похожее выражение я несколько раз замечал на лице Диккенса в ходе нашей недавней беседы в темном кабинете. – Даже несмотря на кошмарные зрелища и дикие звуки, окружавшие меня со всех сторон в тот день, – тихо добавил он.

– Да, безусловно, – промолвил я, подавляя желание сочувственно похлопать по одеялу, накрывающему черную от синяков ногу. – Значит, вы не видели никакого мистера Друда и не слышали, чтобы кто-нибудь говорил о нем... скажем, в санитарном поезде?

– Насколько я помню – нет, мистер Коллинз, – сказал молодой человек. – А что, мистеру Диккенсу непременно нужно найти этого господина? Я бы сделал для мистера Диккенса все, что в моих силах, когда бы мог.

– Нисколько в этом не сомневаюсь, мистер Диккенсон. – На сей раз я все-таки похлопал по колену, накрытому одеялом. – Мистер Диккенс поручил мне поинтересоваться, может ли он быть еще чем-нибудь полезен вам? – Я взглянул на часы. – Нет ли у вас просьб и пожеланий, удовлетворить которые могли бы сиделки или наш общий друг?

– Ровным счетом никаких, – сказал Диккенсон. – Завтра я уже достаточно оправлюсь, чтобы покинуть гостиницу и снова зажить самостоятельно. Я держу кошку, знаете ли. – Он тихо рассмеялся. – Вернее, это она держит меня. Хотя, как свойственно многим представителям кошачьего племени, она приходит и уходит когда пожелает, сама добывает пропитание и, уж конечно, не претерпела никаких неудобств из-за моего отсутствия. – Лицо юноши опять приобрело отстраненное выражение, словно перед его мысленным взором всплыли образы погибших и умирающих жертв Стейплхерстской катастрофы. – На самом деле Киса

не претерпела бы никаких неудобств, умри я три дня назад. Никто не опечалился бы по поводу моей кончины.

– А ваш опекун? – мягко спросил я, желая предотвратить у собеседника приступ жалости к себе.

Диккенсон весело рассмеялся:

– Мой нынешний опекун – известный юрист, в прошлом водивший знакомство с моим дедом, – оплакивал бы мою смерть, мистер Коллинз, но наши отношения носят скорее деловой характер. Киса – единственный мой друг в Лондоне. Да и во всем мире.

Я коротко кивнул:

– Я провожаю вас утром, мистер Диккенсон.

– О, в этом нет необходимости...

– Наш общий друг Чарльз Диккенс считает иначе, – быстро сказал я. – Возможно, коли здоровье ему позволит, он самолично навестит вас завтра и справится о вашем самочувствии.

Диккенсон снова покраснел. Румянец смущения не портил юношу, хотя и придавал ему еще более безвольный и глуповатый вид сейчас, в свете предвечернего июньского солнца, пробивавшемся сквозь гостиничные портьеры. Взяв свою трость и кивнув на прощанье, я покинул молодого Эдмонда Диккенсона, прошагал через гостиную мимо безмолвной сиделки и вышел прочь.

* * *

В начале третьего акта «Замерзшей пучины» Клара Бернем отправляется на Ньюфаундленд в надежде узнать что-нибудь о пропавшей экспедиции (так же поступила леди Франклин, отплывшая со своей племянницей Софией на наемном корабле на Крайний Север в поисках своего мужа, сэра Франклина). В ледяную пещеру на диком берегу острова, шатаясь, входит истощенный, обессиленный человек, пришедший со стороны замерзшего океана. Клара узнает Уордора и истерически обвиняет его в том, что он убил (а может, и съел, думают зрители) ее жениха Фрэнка Олдерсли. Уордор (Диккенс) выбегает из пещеры и возвращается, таща на руках живого Олдерсли (меня, в изодранных одеждах, едва прикрывающих наготу). «В долгом пути по занесенным снегом ледовым полям, – задыхаясь, говорит Уордор, – не раз я испытывал искушение оставить Олдерсли умирать».

После этих слов Диккенс – Ричард Уордор – валится с ног, ибо смертельная усталость, голод и невероятное напряжение сил, потребовавшееся от него для спасения соперника, наконец делают свое дело. Уордор с трудом выговаривает: «Сестра моя, Клара!.. Поцелуй меня, сестра, поцелуй меня напоследок!» Потом он испускает дух на руках у Клары, которая запечатлевает поцелуй на щеке умирающего, орошая слезами его лицо.

На генеральной репетиции меня чуть не вырвало прямо на сцене. А после каждого из четырех представлений «Замерзшей пучины», данных в Тэвисток-хаусе, я просыпался ночью в слезах и слышал свой шепот: «Это ужасно». Вы вольны понимать это, как вам угодно, дорогой читатель.

Актерская игра Диккенса была мощной и... странной. Уильям Мейкпис Теккерей, посетивший премьеру спектакля, позже отзывался о Диккенсе следующим образом: «Если бы сейчас Чарльз пошел на профессиональную сцену, он зарабатывал бы по двадцать тысяч фунтов в год».

В 1857 году это было огромным преувеличением, но к моменту Стейплхерстской катастрофы Диккенс почти столько и зарабатывал «актерством», выступая с публичными чтениями в Соединенных Штатах и Англии.

На всех четырех представлениях «Замерзшей пучины» в Тэвисток-хаусе зрители рыдали как дети. Репортеры, приглашенные Диккенсом на премьерные показы, открыто признавали, что остались под глубоким впечатлением от игры Диккенса, поражавшего своей полной погруженностью в роль Ричарда Уордора. Все до единого отмечали напряженную страстность моего друга – своего рода темную энергию, потоки которой заполняли зал и затягивали зрителей в вихревую воронку.

После четвертого, и последнего, представления «Замерзшей пучины» Диккенс впал в угнетенное состояние. Он писал мне о «печальных звуках», доносящихся из классной залы, где рабочие «крушат и ломают» театральную сцену.

Диккенса настойчиво просили продолжить показ спектакля по моей драме, многие сулили изрядную прибыль. Пошли слухи (оказавшиеся достоверными), что «Замерзшую пучину» желает увидеть сама королева. Но он отверг все подобные предложения. Никто из нас, участников любительской постановки, не хотел выступать за деньги. Но в июне 1857 года – рокового года, когда семейная жизнь Диккенса бесповоротно изменилась, – писателя глубоко потрясло известие о смерти нашего общего друга Дугласа Джеролда.

Диккенс рассказывал мне, что всего за несколько дней до прискорбного события ему приснилось, будто он читает рукопись Джеролда, предназначенную для публикации, но не понимает смысла слов. Этот кошмар преследует любого писателя – внезапное обесмысливание языка, питающего и кормящего нас, – но Диккенса сильно поразило, что он увидел жуткий сон именно тогда, когда Джеролд лежал на смертном одре (о чем никто из нас не знал).

Зная, что семья Джеролда останется в крайне стесненных обстоятельствах (Джеролд являлся гораздо более решительным сторонником реформ, чем когда-либо будет Диккенс при всех своих героических позах), Диккенс предложил устроить ряд благотворительных мероприятий: Т. П. Кук возобновляет постановку двух пьес Джеролда, «Черноглазая Сьюзен» и «День внесения арендной платы», Теккерей и Рассел выступают с лекциями, а сам Диккенс проводит дневные и вечерние публичные чтения. Ну и разумеется, мы снова играем «Замерзшую пучину».

Диккенс поставил цель собрать две тысячи фунтов для семьи Джеролда.

Мы арендовали картинную галерею на Риджент-стрит, чтобы дать там ряд представлений. Королева, всегда избегавшая посещать благотворительные мероприятия в пользу частных лиц, не только поддержала наши усилия, но также письменно сообщила о своем страстном желании увидеть «Замерзшую пучину» и предложила мистеру Диккенсу выбрать в Букингемском дворце любой зал, где можно устроить закрытый спектакль для ее величества и ее гостей.

Диккенс ответил отказом, объяснив свою позицию достаточно убедительно: его дочери, занятые в постановке, еще не были представлены при дворе, он не хочет, чтобы они впервые появились перед королевой в качестве актрис. Он предложил ее величеству прийти на закрытый показ спектакля в картинную галерею за неделю до сбора пожертвований и привести с собой своих гостей. Столкнувшись с железной волей Неподражаемого, королева согласилась.

Мы играли перед ней 4 июля 1857 года. В числе гостей ее величества присутствовали принц Альберт, король Бельгии и принц Прусский. В честь последнего Диккенс приказал украсить вестибюль и лестницы цветами. Признаюсь, иные из нас опасались, что царственные особы будут реагировать на происходящее на сцене не так бурно, как публика, собиравшаяся в Тэвисток-хаусе зимой, но Диккенс заверил нас, что королева и ее гости будут смеяться в смешных местах, плакать в местах печальных и сморкаться ровно в таких моментах пьесы, когда это делали наши зрители попроще. И добавил, что во время водевиля «Дядюшка

Джон», который пойдет после «Замерзшей пучины», многие царственные лица будут ржать как лошади. Как обычно, он оказался прав во всех отношениях.

После представления восхищенная королева пригласила Диккенса подойти к ней и принять изъявления благодарности.

Он отклонил приглашение.

На сей раз он объяснил свой отказ следующим образом: «Я не могу себе позволить предстать перед ее величеством усталым, разгоряченным, с гримом на лице».

Разумеется, на самом деле Диккенс не пожелал подойти к ее величеству вовсе не потому, что не успел смыть жирный грим. Просто в тот момент он еще оставался в костюме заглавного героя нашего романтического водевиля «Дядюшка Джон»: в мешковатом халате, нелепом парике и с красным накладным носом. Чарльз Диккенс, один из самых гордых и самодовольных людей на свете, ни за что не согласился бы появиться перед королевой Викторией в таком шутовском обличье.

И снова королева любезно уступила воле писателя.

Мы дали еще два представления «Замерзшей пучины» в картинной галерее, но, хотя драма снова вызвала безумное восхищение и самые восторженные отзывы у всех зрителей, а сборы от нее составили львиную долю средств, поступивших в фонд помощи семье Джеролда, двух тысяч фунтов у нас так и не набралось.

Джон Дин, директор манчестерской художественной галереи, уже давно настойчиво уговаривал Диккенса сыграть «Замерзшую пучину» во Фри-Трейд-Холле. Не желая удовольствоваться суммой меньше обещанных Джеролдам двух тысяч фунтов, наш писатель безотлагательно отправился в Манчестер, чтобы выступить там с публичными чтениями «Рождественской песни» и осмотреть концертный зал, свободно вмещавший две тысячи человек.

Он сразу решил, что лучшего места для показа спектакля не найти, но зал слишком велик для скудных актерских способностей его дочерей и свояченицы Джорджины, исполнявших главные роли. (Чарльзу Диккенсу ни на миг не пришло в голову, что *он* может не соответствовать требованиям, предъявляемым актеру, выступающему в столь огромном зале перед столь многочисленной публикой. Он по опыту знал, что в состоянии подчинить своему магнетическому влиянию трех-, четырехтысячную толпу.)

Значит, придется нанять профессиональных актрис и провести с ними репетиции. (Марк Лемон, сын Диккенса Чарли и я были оставлены в труппе, но Неподражаемый принялся муштровать нас так, будто мы никогда прежде не играли пьесу.)

Альфред Уиган, директор театра «Олимпик», порекомендовал Диккенсу двух своих многообещающих молодых актрис, недавно принятых в труппу, – Фанни и Марию Тернан. Диккенс тотчас одобрил предложенные кандидатуры (мы с ним уже видели на сцене обеих поименованных Тернан, а их младшая сестра и мать играли в других спектаклях), и Уиган спросил у девушек, не хотят ли они принять участие в постановке «Замерзшей пучины». Они горели желанием.

Потом Уиган посоветовал Диккенсу подумать о том, чтобы занять в спектакле мать молодых женщин, Френсис Элеонору Тернан, а равно самого младшего и самого непримечательного члена актерской семьи – некую Эллен Лоулесс Тернан, всего восемнадцати лет от роду.

Таким образом, жизнь Чарльза Диккенса бесповоротно изменилась.

* * *

Из гостиницы «Чаринг-Кросс» я направился домой. Часть пути я проехал в кебе, а часть решил пройти пешком и зашел поужинать в клуб, членом которого не являлся, но в котором имел гостевые привилегии.

Я пребывал в дурном расположении духа. Настроение мне испортил этот дерзкий щенок Диккенсон, посмевавшийся заявить, что мне «очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс».

Когда пять лет назад, в конце лета 1860 года, в «Круглом годе» начала публиковаться моя «Женщина в белом», сразу после диккенсовской «Повести о двух городах» (а я должен вам заметить, дорогой читатель, что диккенсовский Ричард Сидни Картон почти целиком списан с моего персонажа, бескорыстного и самоотверженного Ричарда Уордора, – даже сам Диккенс признавал, что общий замысел «Повести о двух городах» возник у него во время последнего представления «Замерзшей пучины», когда он лежал на сцене и настоящие слезы Марии Тернан – новой Клары Бернем – лились на его лицо, бороду и изодранные одежды столь обильно, что ему пришлось прошептать: «Все закончится через две минуты, милое дитя. Умоляю вас, успокойтесь!»)...

О чем я, бишь?

Ах да. Когда в новом диккенсовском еженедельнике стала печататься выпусками моя «Женщина в белом» (сразу снискавшая, скромно замечу, огромный интерес и горячее одобрение читателей), в литературных кругах пошли пустые разговоры и в прессе появился ряд критических отзывов, смысл которых сводился к тому, что я, Уилки Коллинз, научился литературному ремеслу у Чарльза Диккенса, шлифовал свое мастерство под наставничеством Чарльза Диккенса и даже позаимствовал писательский стиль у Чарльза Диккенса. Многие говорили, что мне не хватает диккенсовской глубины, а иные шептались между собой, что я «неспособен живо изображать характеры».

Разумеется, это полная чушь.

По первом прочтении моей рукописи Диккенс самолично написал мне письмо, где высказался следующим образом: «...эта книга – большой шаг вперед по сравнению с вашими предыдущими произведениями, особенно если говорить о тонкости. Характеры превосходны... Никто не мог бы сделать ничего подобного. В каждой главе я находил примеры изобретательности и удачные обороты речи».

Но Диккенс не был бы Диккенсом, если бы не подлил ложку дегтя в бочку меда, добавив, что он «издавна возражал против вашей склонности слишком подробно объяснять все читателям, ибо это неизбежно заставляет их обращать чрезмерное внимание на отдельные моменты».

На это можно ответить, что Чарльз Диккенс сам всегда слишком подробно объяснял все читателям и что слишком много простых людей, сбитых с толку самозабвенными полетами непостижимой фантазии и ненужной изощренностью слога, безнадежно теряются в густом лесу диккенсовской прозы.

Честно говоря, дорогой читатель, живущий в далеком будущем, откуда ни малейший отзвук моей искренности не может долететь ни до одного из нынешних поклонников Чарльза Диккенса, – так вот, честно говоря, в части построения сюжета я всегда был и почти наверняка останусь десятикрат лучшим мастером, чем Чарльз Диккенс. У Диккенса сюжет зачастую вырастал из его произвольных манипуляций курьезными марионеточными персонажами: если в процессе публикации какого-нибудь из его бесчисленных романов недельные продажи журнала вдруг начинали падать, он просто вводил в повествование еще более дурацкие персонажи и заставлял их расхаживать и кривляться перед доверчивым читателем – так, например, он с легкостью отправил бедного Мартина Чезлвита в Соединенные Штаты, чтобы только возбудить читательский интерес.

Моим сюжетам свойственна такая филигранность проработки, какую Чарльз Диккенс никогда не мог оценить в полной мере и какой, разумеется, не мог добиться в своих собственных предсказуемых (для любого проницательного читателя), неряшливо скроенных, извилистых сюжетах, изобилующих своевольными побочными линиями.

Наглецы и невежды вроде этого щенка Эдмонда Диккенсона всегда говорили, что я постоянно учусь у Чарльза Диккенса, но дело обстояло ровно наоборот. Как я упомянул выше, Диккенс сам признавал, что образ самоотверженного Сидни Картона из «Повести о двух городах» сложился у него под впечатлением от моего Ричарда Уордора из «Замерзшей пучины». А его «старуха в белом», всем известная мисс Хэвишем, просто откровенно списана с главной героини моего романа «Женщина в белом».

* * *

Я сел за свой одинокий ужин. Я часто навещался в этот клуб – здешний повар отменно готовил пудинг с мясом жаворонка, каковое блюдо я считаю одним из четырех величайших достижений современности. Сегодня я решил поужинать сравнительно легко и заказал паштет двух сортов, суп, несколько сладких омаров, бутылку сухого шампанского, баранью ножку, фаршированную устрицами и рубленным луком, две порции спаржи, немного тушеной говядины, чуток крабьего мяса и яичницу.

Наслаждаясь скромной трапезой, я вспомнил, что одним из немногих достоинств, нравившихся мне в жене Диккенса, являлся ее кулинарный талант – или, по крайней мере, кулинарные шедевры, готовившиеся в Тэвисток-хаусе под ее надзором, ибо я ни разу не видел, чтобы она сама надела фартук или взялась за половник. Много лет назад Кэтрин Диккенс (под псевдонимом «леди Мария Клаттербак») издала поваренную книгу «Что у нас на обед?», содержащую рецепты блюд, которые регулярно подавались у них в доме на Девоншир-террас. Почти все блюда из репертуара Кэтрин были мне весьма по вкусу – несколько из них стояли на моем столе нынче вечером, хотя и сопровождались не столь роскошными соусами (я вообще считаю искусство приготовления соусов верхом кулинарного мастерства), – поскольку она тоже отдавала предпочтение омарам, бараньим ножкам, жирным бифштексам и замысловатым десертам. В книге Кэтрин приводилось столько рецептов разнообразных сырных тостов, что один рецензент заметил: «Человек, поглотивший такое количество сырных тостов, просто не может остаться в живых».

Но Диккенс выжил. И ни разу за многие годы не прибавил ни фунта. Возможно, конечно, это объяснялось его привычкой проходить скорым шагом от двенадцати до двадцати миль ежедневно. Сам я малоподвижен по натуре. Мои предрасположенности и хроническая болезнь удерживают меня близ стола, кушетки и кровати. Я хожу пешком, если это необходимо, но норовлю присесть или прилечь при каждой удобной возможности. (Гостя в Тэвисток-хаусе или Гэдсхилл-плейс, я имел обыкновение прятаться в библиотеке или одной из пустующих гостевых комнат до двух-трех часов пополудни, когда Диккенс кончал работать и отправлялся на поиски спутника для своего очередного треклятого марш-броска. Разумеется, обычно Диккенс отыскивал вашего покорного слугу – выслеживая по запаху сигарного дыма, как я теперь понимаю, – и зачастую мне приходилось проходить с ним первые пару миль длинного маршрута, каковое расстояние мы покрывали минут за двадцать, если не меньше, двигаясь с невероятной скоростью.)

Нынче вечером я никак не мог выбрать между двумя десертами, а потому, приняв соломоново решение, заказал и пудинг с мясом жаворонка, и вкуснейший яблочный пудинг. А также бутылку портвейна. И кофий.

Доедая пудинг, я заметил высокого старика аристократической наружности, выходящего из-за стола в другом конце зала, и в первый момент принял его за Теккерей. Потом я вспомнил, что Теккерей умер в сочельник 1863-го, почти полтора года назад.

Я находился в этом самом клубе в качестве гостя Диккенса, когда старший писатель и Неподражаемый помирились после семи лет холодного молчания. Отношения между ними начали портиться еще во время дикой шумихи, сопровождавшей разрыв Диккенса с Кэтрин,

когда мой друг был особенно раним. В Гаррик-клубе кто-то обмолвился, что у Диккенса интрижка со свояченицей, а Теккерей, явно не подумав, возразил: «Да нет, с актрисой».

Разумеется, эти слова вскорости дошли до Диккенса. Так всегда бывает. Потом один молодой журналист, друг Диккенса из числа его «верных солдат», некий Эдмонд Йетс (мне всегда казалось, что у него, как у Кассия, вечно голодный взгляд) напечатал в журнале «Таунток» весьма едкий и недоброжелательный очерк о Теккерее. Глубоко уязвленный, старый джентльмен обратился к правлению Гаррик-клуба с просьбой отказать молодому человеку в членстве на том основании, что «общество джентльменов не может мириться с такими поступками, как публикация пасквильных статей».

С неожиданной резкостью ополчившись на своего старого друга Теккерея, Диккенс принял сторону Йетса в конфликте и сам вышел из членов клуба, когда правление согласилось с Теккереем и вычеркнуло журналиста из клубного списка.

И именно здесь, в клубе «Атенеум», семью годами позже примирение все-таки состоялось. Диккенс при мне рассказывал Уиллсу об этом событии. «Вешая шляпу на вешалку в холле „Атенеума“, я поднял взгляд и увидел перед собой изможденное лицо Теккерея. Он походил на привидение, Уиллс, – ни дать ни взять, мертвый Марли, только цепей не хватает.³ Я спросил: „Теккерей, вы что, были больны?“ И вот, после семи лет молчания мы завязали разговор и обменялись рукопожатием. Теперь у нас все как прежде».

Очень трогательный рассказ. И не имеющий никакого отношения к действительности.

Мне случилось быть в «Атенеуме» упомянутым вечером, и мы с Диккенсом оба увидели Теккерея. Старый джентльмен надевал пальто, путаясь в рукавах, и одновременно разговаривал с двумя членами клуба. Диккенс прошагал мимо него, не удостоив взглядом. Пока я убирал свои трость и шляпу, Диккенс достиг лестницы и уже начал подниматься по ступенькам, когда старый писатель бросился за ним следом. Теккерей заговорил первым, а потом протянул Диккенсу руку. Они обменялись рукопожатием. Затем Диккенс прошел в гостиную, а Теккерей вернулся к своим собеседникам – кажется, одним из них был сэр Теодор Мартин – и сказал: «Я рад, что сделал это».

Чарльз Диккенс был человеком добрым и зачастую сентиментальным, но он никогда не шел на примирение первым. О каковом обстоятельстве мне придется еще раз вспомнить в скором времени.

* * *

Я взял кеб и по дороге домой размышлял о странном намерении Диккенса разыскать фантома по имени Друд.

Сегодня утром, слушая рассказ друга о Стейплхерстской катастрофе, я несколько раз менял свое мнение относительно правдивости той части истории, которая касалась мистера Друда. Чарльз Диккенс не был лжецом. Но Чарльз Диккенс всегда свято верил в правдивость и истинность любых своих слов по любому поводу – изреченных ли в разговоре, начертанных ли на бумаге. Если наш друг утверждал, что нечто является правдой, он неизменно убеждал себя, что так оно и есть, даже если правдой там и не пахло. Наглядным примером данного феномена служат публичные письма семилетней давности, где Диккенс возлагает вину за разрыв супружеских отношений на Кэтрин, хотя инициатором разрыва и заинтересованной в нем стороной был он.

Но зачем придумывать историю про Друда?

³ Марли – вернее, его призрак – один из героев повести Диккенса «Рождественская песнь» (1843).

С другой стороны, зачем рассказывать всем, что именно он, Диккенс, первый сделал шаг к примирению с Теккереем после многолетней ссоры, когда инициативу проявил старый писатель?

Дело в том, что все вымыслы и домыслы Чарльза Диккенса – носившие, вероятно, характер неумышленный (сам будучи романистом, я знаю, что представители нашей профессии живут в мире воображения едва ли не в большей степени, чем в так называемой реальной действительности), – почти всегда преследовали цель выставить его самого в наилучшем свете.

По свидетельствам всех очевидцев, включая пухлого коротышку Эдмонда Диккенсона (чтоб его синяки воспалились, загнили и обратились в язвы), Диккенс показал себя настоящим героем на месте Стейплхерстской железнодорожной катастрофы. История про загадочного Друда, включенная в повествование, ничего не прибавляла к героизму Неподражаемого. Наоборот, явная тревога, с какой он описывал курьезного, призрачного господина, скорее отвлекала внимание от героического ореола над челом писателя.

Тогда к чему все это?

По всей видимости, решил я, на месте крушения действительно находился некий предиковинный субъект по имени Друд и что-то близко похожее на короткий разговор и последующие странные взаимодействия с ним, описанные Диккенсом, происходили на самом деле.

Но зачем разыскивать этого человека? Спору нет, в столь эксцентричном типе определенно чувствуется некая тайна, но в Англии, в Лондоне и даже на наших железных дорогах полным-полно разных эксцентричных типов. (Даже молодой мистер Диккенсон, эта нахальная букашка, походит на персонажа одного из диккенсовских романов – сирота, с богатым опекуном и полученным по суду наследством, апатичный, ленивый, находящий удовольствие лишь в чтении да ничегонеделанье. После него сильно ли нужно напрячь воображение, чтобы поверить в существование «мистера Друда» с физиономией трупного цвета, безвеками глазами, беспальными руками и речью с присвистом?)

«Но зачем все-таки его разыскивать?» – спрашивал я себя, подъезжая к своей улице.

Чарльз Диккенс имел обыкновение тщательно планировать и заранее обдумывать свои шаги, но при этом всегда оставался человеком импульсивным. Во время своей первой поездки по Соединенным Штатам он настроил против себя большую часть публики и всю американскую прессу, настойчиво выступая за принятие закона о международном авторском праве. Выскочки-американцы считали в порядке вещей, что произведения Чарльза Диккенса (да и всех прочих английских писателей) воруются и издаются в Штатах без каких-либо отчислений автору, так что Диккенс имел все основания для негодования. Но вскоре после поездки – после разлада отношений с изначально обожающей американской публикой – Диккенс утратил всякий интерес к проблеме авторского права. Иными словами, он был расудительным человеком со склонностью к безрассудным поступкам под влиянием момента.

В Гэдсхилле и прежних местах проживания, в ходе любого путешествия или загородной прогулки, всегда только Чарльз Диккенс решал, куда направиться, где расположиться на пикник, в какие игры играть, кого назначить капитаном команды, и чаще всего именно Диккенс вел счет очков, объявлял победителей и вручал призы. Жители ближайшей к Гэдсхилл-плейс деревни относились к нему скорее как к местному помещику, явно считая великой честью для себя согласие знаменитого писателя раздавать награды на ярмарках и соревнованиях.

В детстве Диккенс неизменно верховодил сверстниками в играх. Он сызмалу не сомневался в своем безоговорочном праве на роль лидера и ни разу не отказался от нее во взрослом возрасте.

Но какую игру мы с ним затеем, если вдруг и вправду найдем таинственного мистера Друда? Чего добьемся этим, кроме того, что удовлетворим очередной ребяческий порыв Чарльза Диккенса? С какими опасностями будет сопряжено это дело? Кварталы и улицы, якобы упомянутые Друдом, когда они с Диккенсом спускались по откосу к искореженным вагонам, находились далеко не в самом безопасном районе Лондона. А в той части города, которую Диккенс совершенно справедливо называл «гигантским пеклом».

* * *

По прибытии домой я изнемогал от страшных подагрических болей.

Свет уличных фонарей резал глаза. Звук собственных шагов бил в мозг тяжелым молотом. Грохот проезжающего фургона заставлял корчиться от боли. Я трясся всем телом. Внезапно во рту у меня появился горький кофейный вкус – не послевкусие кофья, выпитого с десертом в клубе, а какая-то гадость. В голове туманилось, тошнотворная слабость разливалась по телу.

Наш новый дом располагался на Мелкомб-плейс. Сюда мы переехали с Харли-стрит год назад – отчасти потому, что после «Женщины в белом» мои доходы значительно возросли и положение в литературных кругах упрочилось. (За следующий свой роман, «Без имени», я получил свыше трех тысяч фунтов от издания отдельной книгой, и мне обещали еще четыре с половиной тысячи фунтов за журнальную публикацию в Британии или Америке.)

Говоря «наша» или «мы», я подразумеваю свою давнюю сожительницу, некую Кэролайн Г***, и ее тогда четырнадцатилетнюю дочь Хэрриет, а попросту Кэрри. Ходили слухи, будто Кэролайн послужила прототипом главной героини «Женщины в белом». Действительно, наша случайная встреча произошла ночью, когда она выбежала из виллы в Риджентс-парке, спасаясь от одного мерзавца, и я бросился за ней следом и защитил от уличного сброда, каковая сцена нашла отражение в моем романе, но замысел «Женщины в белом» возник у меня задолго до знакомства с Кэролайн.

Однако в данный момент Кэролайн и Хэрриет гостили у родственницы в Дувре, наша единственная настоящая служанка тоже отсутствовала нынче вечером (признаться, в ежегодной налоговой декларации я записывал дочь Кэролайн «служанкой»), а посему я находился в доме один. Правда, в другом доме, расположенном в нескольких милях от Мелкомб-плейс, обреталась другая женщина – некая Марта Р***, прежде служившая горничной в ярмутской гостинице, а ныне впервые приехавшая в Лондон. С Мартой я тоже надеялся пожить в уютной семейной обстановке в будущем, но сегодня и в ближайшее время не имел намерения наведываться к ней. Самочувствие не позволяло.

Дом был погружен во тьму. Я достал из кладовой бутылку лауданума, хранившуюся там под замком, залпом выпил два стакана, а потом несколько минут сидел за столом на кухне, ожидая, когда боль утихнет.

Вскоре препарат подействовал. Ощувив прилив сил и бодрости, я решил подняться в кабинет на втором этаже и поработать час-другой, прежде чем отправиться на боковую. Я пошел вверх по черной лестнице, ближайшей к кухне.

Эта лестница, предназначенная для слуг, была очень крутой. Мерцающий газовый рожок на площадке второго этажа отбрасывал лишь крохотный круг неверного света, за пределами которого сгушалась непроглядная тьма.

В кромешном мраке надо мной послышались тихие звуки движения.

– Кэролайн? – окликнул я, прекрасно понимая, что там не Кэролайн.

И не наша служанка. Она уехала в Кент, к заболевшему пневмонией отцу.

– Кэролайн? – повторил я, ожидая – но тщетно – ответа.

Звуки – теперь я опознал в них шелест шелкового платья – доносились с мансардной лестницы и медленно приближались. Я различал осторожную поступь маленьких босых ног.

Я неловко повозился с газовым рожком, но ненадежная горелка, коротко полыхнув, опять померкла и замерцала слабо, как прежде.

Потом она вступила в круг зыбкого света, всего тремя ступеньками выше меня. Она выглядела как обычно: старое темно-зеленое шелковое платье с закрытым корсажем, украшенным вышивкой в виде цепочек крохотных золотых лилий, спускающихся к перетянутой черным поясом талии. Волосы уложены в старомодную высокую прическу. Кожа зеленая – цвета застарелого сыра или полуразложившегося трупа. Глаза похожи на две чернильные лужицы, влажно поблескивающие в свете газового рожка.

Она раздвинула губы в приветственной улыбке, и я увидел длинные желтые зубы, загнутые наподобие кабаньих клыков.

Я не питал никаких иллюзий относительно причины ее появления здесь. Она хотела схватить меня и сбросить с высокой лестницы. Она предпочла заднюю лестницу передней – широкой, хорошо освещенной и не столь опасной. Она спустилась еще на две ступеньки, расплываясь в желтозубой улыбке.

Двигаясь проворно, но не испуганно и не поспешно, я распахнул дверь в служебный коридор второго этажа, шагнул в нее и тотчас закрыл за собой и запер на замок. Я не слышал дыхания за дверью – зеленокожая женщина вообще не дышала, – но различил в тишине слабое царапанье по деревянной панели и увидел, как круглая фарфоровая ручка чуть повернулась туда-сюда.

Я зажег газовые рожки в коридоре. Никого, кроме меня, здесь не было.

Глубоко дыша, я расстегнул воротничок на булавке и отправился в кабинет работать.

Глава 4

Прошло три недели. По словам моего брата Чарли, гостившего со своей женой Кейт, дочерью Диккенса, в Гэдсхилл-плейс, писатель постепенно оправлялся от тяжелого потрясения. Он ежедневно работал над «Нашим общим другом», устраивал званые обеды, часто исчезал из дома (почти наверняка наведывался в город к Эллен Тернан) и даже читал свои произведения перед группами избранных слушателей. Я в жизни не видел чтецов или актеров, которые выкладывались бы так, как Чарльз Диккенс во время своих чтений, и самый факт подобных выступлений (даже если он слегал после них, а такое частенько случалось, по словам Чарли) свидетельствовал, что у него еще остался порох в пороховницах. Он по-прежнему смертельно боялся поездов, но, верный своей натуре, именно по этой причине заставлял себя почти каждый день кататься в Лондон железной дорогой. Чарли говорил, что при малейшем сотрясении вагона лицо у него серело, на лбу и изрезанных морщинами щеках выступали крупные капли пота, и он судорожно вцеплялся в спинку впереди стоящего кресла, но после глотка бренди Диккенс овладевал собой и более не выказывал признаков внутреннего смятения. Я был уверен, что Неподражаемый напрочь забыл про Друда.

Но в июле поиски фантома начались всерьез.

Стояла самая жаркая, самая душная пора жаркого, душного лета.

Испражнения трех миллионов лондонцев смердели в открытых сточных канавах, включая самую большую из наших открытых сточных канав, Темзу (несмотря на недавно предпринятую попытку запустить сложную сеть подземных канализационных труб). Десять тысяч лондонцев спали на террасах и балконах в ожидании дождя. Но когда шел дождь, он походил на горячий душ и только добавлял к жаре еще и влажность. Знойный июль накрывал Лондон подобием тяжелого мокрого одеяла.

Каждый день на зловонных улицах собирали двадцать тысяч тонн конского навоза и отвозили на «свалку», каковым словом мы приличия ради называли громадные кучи фекалий, что вздымались близ устья Темзы, подобно английским Гималаям.

Переполненные кладбища в окрестностях Лондона тоже невыносимо смердели. Могильщикам приходилось прыгать на трупах, часто проваливаясь по колени в изгнившую плоть, чтобы затолкать новых обитателей в мелкие могилы, вырытые в жирной перегнойной земле, и новые мертвецы присоединялись к останкам прежде захороненных тел, уложенных в несколько слоев. В июле вы за шесть кварталов узнавали по запаху о близости кладбища (чудовищное зловоние гнало людей прочь из окрестных лачуг и многоквартирных домов), а ведь какое-нибудь кладбище было где-нибудь поблизости всегда. Мы ходили по трупам и дышали трупным смрадом.

Множество неприбранных трупов валялось на беднейших улочках «гигантского пекла», разлагаясь рядом с грудями гниющего мусора, который тоже никогда не убирался. Не струйки и не ручейки, но настоящие реки нечистот текли по улицам мимо мусорных куч и трупов, порой стекая в канализационные колодцы, но чаще просто собираясь в лужи и целые озера на булыжных мостовых. Эта зловонная бурая жижа затапливала подвалы, отравляла колодцы и неизменно – рано или поздно – попадала в Темзу.

Торговые и промышленные предприятия ежедневно выбрасывали многие тонны содранных шкур, отваренных костей, конины, кошачьих кишок, коровьих копыт, голов, внутренностей и прочих органических отходов. Все это скидывалось в Темзу или сваливалось в гигантские кучи на берегах Темзы и смывалось в воду дождями впоследствии. Хозяева прибрежных лавок и обитатели прибрежных домов наглухо задраивали окна и пропитывали шторы хлоридом, а в Темзу по приказу городского правления тоннами ссыпалась гашеная известь. Люди на улицах прикрывали рты и носы надушенными платками. Это не помогало.

Даже упряжных лошадей (среди них вскоре начался падеж, усугубивший ситуацию) рвало от нестерпимой вони.

Влажный знойный воздух июльских ночей казался почти зеленым, густо насыщенным испарениями от экскрементов, производимых трехмиллионным городом, и миазмами от скотобоен и прочих промышленных живодерен, являвшихся отличительной чертой нашей эпохи. Возможно, в ваше время, дорогой читатель, дела обстоят еще хуже, но я, признаться, не представляю, куда уж хуже.

Диккенс прислал мне записку с просьбой встретиться с ним в восемь часов вечера в таверне «Блю-постс» на Корк-стрит, где он угостит меня ужином. Там также говорилось, чтобы я надел высокие сапоги для «ночной прогулки, связанной с нашим другом мистером Д.».

Хотя с утра мне нездоровилось (подагра часто обостряется по такой жаре), я подъехал к «Блю-постс» к назначенному часу. Диккенс заключил меня в объятия у дверей таверны и вскричал:

– Милейший Уилки, как же я рад видеть вас! Последние несколько недель я был страшно занят и скучал по вашему обществу!

Сама трапеза, обильная, превосходная, неторопливая, пришлась мне по вкусу, как и пиво с вином, что мы с наслаждением потягивали. Разговаривал в основном Диккенс, разумеется, но беседа, по обыкновению, носила оживленный и беспорядочный характер. Неподражаемый сказал, что рассчитывает завершить «Нашего общего друга» к первым числам сентября и абсолютно уверен, что благодаря заключительным выпускам романа продажи «Круглого года» резко возрастут.

После ужина мы взяли кеб и поехали к полицейскому участку на Леман-стрит.

– Вы помните инспектора Чарльза Фредерика Филда? – спросил Диккенс, пока кеб с грохотом катил к полицейскому участку.

– Конечно, – ответил я. – Филд служил в сыскном отделе Скотленд-Ярда. Вы часто общались с ним, когда собирали хроникальный материал для «Домашнего чтения» много лет назад, и он сопровождал нас в нашей экскурсии по... э-э... наименее привлекательным кварталам Уайтчепела.

Я не стал добавлять, что всегда был уверен: Диккенс взял инспектора Филда за прототип своего инспектора Баккета из «Холодного дома». Излишне уверенный голос, спокойное чувство превосходства над преступниками, бандитами и уличными женщинами, встречавшимися нам той долгой ночью в Уайтчепеле, не говоря уже о способности этого верзилы взять какого-нибудь типа за локоть железной хваткой, из которой не вырваться никакими силами, да повести туда, куда тот идти вовсе не собирался... Инспектор Баккет со всеми своими грубоватыми повадками срисован с реального инспектора Филда тютеляка в тютелюку, как говорится.

– Инспектор Филд был нашим ангелом-хранителем во время нашего нисхождения в Аид, – сказал я.

– Совершенно верно, дорогой Уилки, – подтвердил Диккенс, вылезая вместе со мной из кеба у полицейского участка на Леман-стрит. – А поскольку инспектор Филд вышел в отставку и сменил поприще, я с великим удовольствием представляю вам нашего нового ангела-хранителя.

Человек, поджидавший нас под газовым фонарем у входа в полицейский участок, походил больше на громадную каменную глыбу, нежели на человека. Несмотря на жару, он был в длинном пальто, напоминающем просторные длиннополые пыльники, в каких часто изображают австралийских или американских ковбоев на иллюстрациях к низкопробным авантюрным романам, и в котелке, плотно сидящем на крупной голове с копной курчавых волос. Несоразмерно широкое туловище тяжеловесных прямоугольных очертаний казалось гра-

нитным пьедесталом, увенчанным массивной головой, словно вытесанной в камне. Глаза маленькие, нос походил на треугольный выступ, высеченный из того же минерала, что и вся физиономия, а тонкогубый рот оставлял впечатление прорези, выбитой зубилом. Шея шире котелка с полями вместе. А руки в три раза больше моих.

Рост Чарльза Диккенса составлял пять футов девять дюймов. Я был на несколько дюймов ниже. Этот великан в сером ковбойском плаще казался выше Диккенса самое малое на девять дюймов.

– Уилки, познакомьтесь с бывшим инспектором уголовной полиции Хиббертом Алоизием Хэчери, – сказал Диккенс, ухмыляясь в бороду. – Сыщик Хэчери, я рад представить вам моего близкого друга, талантливого собрата по перу и напарника в деле поисков мистера Друда – мистера Уилки Коллинза, эсквайра.

– Очень приятно, сэр, – прогудел великан, нависающий над нами. – Можете называть меня Хиб, коли вам угодно, мистер Коллинз.

– Хиб, – тупо повторил я.

По счастью, инспектор ограничился тем, что приветственно приподнял котелок. При мысли об огромной лапище, сжимающей мою руку и дробящей все кости, у меня ослабли колени.

– Мой отец, человек умный, но неученый, если вы понимаете, о чем я, сэр, – сказал сыщик Хэчери, – так вот, он был уверен, что имя Хибберт есть в Библии. Увы, такое имя там ни разу не встречается – ни даже в качестве названия какого-нибудь местечка, где евреи устраивали привал во время своих блужданий по пустыне.

– Сыщик Хэчери несколько лет прослужил в чине сержанта в Столичной полиции, но в настоящее время находится в... э-э... долгосрочном отпуске и занимается частным сыском, – сказал Диккенс. – Он собирается вернуться в сыскной отдел Скотленд-Ярда через год или раньше.

– Частный сыщик, – пробормотал я. (Идея показалась мне весьма плодотворной. Я тотчас взял ее на заметку и впоследствии положил в основу своего романа «Лунный камень» – возможно, известного вам, дорогой читатель, позволю себе нескромно заметить.) – Так, значит, вы сейчас на отдыхе, сыщик Хэчери?

– Можно и так сказать, – пророкотал великан. – Меня попросили временно уволиться из-за моего неправомерного обращения с одним преступным мерзавцем в ходе исполнения служебных обязанностей, сэр. Пресса подняла шум. Мой начальник решил, что для отдела и меня самого будет лучше, если я на несколько месяцев уйду в отпуск, так сказать, и займусь на досуге частной практикой.

– Из-за неправомерного обращения... – повторил я.

Диккенс похлопал меня по спине:

– Сыщик Хэчери при задержании вышеупомянутого мерзавца – дерзкого грабителя, средь бела дня нападавшего на пожилых дам здесь, в Уайтчепеле, – ненароком свернул преступнику шею. Как ни странно, малый выжил, но сейчас родным приходится таскать его на носилках. Небольшая потеря для общества и надлежащим образом выполненная работа, как заверили меня инспектор Филд и прочие полицейские чины, но сверхщепетильные сотрудники «Панча», не говоря уже о бульварных газетенках, решили поднять шум. Так что нам несказанно повезло: сыщик Хэчери располагает свободным временем, чтобы сопровождать нас в нашей сегодняшней вылазке в «гигантское пекло».

Хэчери извлек из-под полы своего широкого пальто фонарь «бычий глаз», выглядевший в его огромной лапище как карманные часы.

– Я буду следовать за вами, джентльмены, но постараюсь оставаться неслышным и невидимым, покуда не понадобится вам.

* * *

Пока мы с Диккенсом ужинали, прошел дождь, но после него горячий ночной воздух стал только более душным. Неподражаемый шел впереди обычным своим несуразно скорым шагом – каким покрывал по четыре мили в час самое малое и мог ходить по много часов кряду, не сбавляя скорости, как я знал по горькому опыту, – и я изо всех сил старался не отставать. Сыщик Хэчери плыл в десяти ярдах позади нас, подобный безмолвному сгустку тумана.

Мы оставили позади широкие улицы и проезды и, следуя за Диккенсом, стали углубляться в лабиринт темных узких улочек и проулков, становившихся все темнее и уже по мере нашего движения вперед. Чарльз Диккенс ни на миг не замедлял шага: он часто совершал здесь полуночные прогулки и знал эти ужасные кварталы как свои пять пальцев. Я понимал лишь, что мы находимся где-то к востоку от Фалькон-Сквер. Я смутно помнил эти места с нашей предыдущей совместной вылазки в лондонскую клоаку – Уайтчепел, Шедуэлл, Уоппинг, все городские районы, куда ни один джентльмен и носа не сунет, если только не захочет найти продажную женщину самого низкого пошиба. Похоже, мы направлялись к докам. Мерзкий запах Темзы усиливался с каждым темным узким кварталом, который мы проходили, углубляясь в этот крысиный лабиринт. Здания здесь выглядели так, словно были построены еще в Средние века, когда Лондон, плоский, темный и больной, лежал за высокими крепостными стенами; выступающие этажи древних строений нависали над нами с обеих сторон, почти заслоняя ночное небо.

– Куда мы идем? – шепотом спросил я Диккенса.

Мы шагали по совершенно пустынной улочке, но я чувствовал взгляды людей, наблюдавших за нами из темных или закрытых ставнями окон и грязных закоулков. Я старался говорить по возможности тише, но понимал, что даже шепот разносится не хуже крика в душном безмолвном воздухе.

– Блюгейт-Филдс, – коротко ответил Диккенс.

Медный наконечник его тяжелой трости (которую он, я заметил, всегда брал с собой в подобные ночные походы по «Вавилону») постукивал по разбитой брусчатке на каждом третьем его шаге.

– Иногда его еще называют Тайгер-Бэй, – раздался голос из темноты позади нас.

Признаюсь, я вздрогнул. Я совсем забыл про сыщика Хэчери.

Мы пересекли улицу пошире – кажется, Брунsvик-стрит, – но она была не чище и не лучше освещена, чем зловонные трущобные кварталы по обе стороны от нее. Потом мы снова углубились в лабиринт узких улочек. Многоквартирные дома здесь поднимались высоко и тесно жались друг к другу, а иные из них уже обрушились и обратились в бесформенные груды камня и дерева. Но даже на пустырях и пепелищах я замечал движение смутных теней, провожавших нас пристальными взглядами. Мы перешли мост через вонючий приток Темзы. (Считаю нужным указать вам, дорогой читатель, что именно в 1865 году принц Уэльский публично повернул колесо, запустившее в действие Главную очистную станцию в Кроснесе, которая явилась первым серьезным достижением главного инженера Управления общественных работ Джозефа Базалгетти, поставившего перед собой цель обеспечить Лондон современной канализационной системой. На торжественной церемонии открытия присутствовал весь цвет английской знати и высшего духовенства. Но, отбросив в сторону всякую деликатность, считаю нужным напомнить, что Главная очистная станция – и все построенные впоследствии очистные сооружения, равно как несметное множество старых сточных канав, – по-прежнему сливает в Темзу дерьмо.)

Чем ужаснее становились труппы, тем больше народа появлялось в поле зрения. Группы людей – вернее, скопления неясных теней – виднелись на углах улиц, в дверных проемах, на пустырях между домами. Диккенс держался середины разбитой мостовой, чтобы лучше видеть и вовремя огибать ямы и зловонные лужи нечистот. Он шел крупным шагом, постукивая своей джентльменской тростью по камням, и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на злобное ворчание и брань мужчин, встречавшихся нам по дороге.

Наконец группа таких вот оборванцев выступила из темного проулка и двинулась нам наперерез. Диккенс не сбавил шага, но продолжал спокойно идти вперед, словно видел перед собой стайку ребятишек, собирающихся попросить у него автограф. Однако я заметил, что он перехватил трость таким образом, чтобы медная рукоять – выполненная в виде птичьего клюва, кажется, – была нацелена вперед.

Сердце у меня бешено заколотилось, и я чуть не зашатался от страха, когда Диккенс повел меня навстречу воинственно настроенным головорезам, перегородившим улицу живой стеной. Потом серая, увенчанная котелком глыба быстро проплыла мимо меня, нагнала Диккенса, и голос Хэчери негромко произнес:

– Прочь с дороги, парни. Возвращайтесь в свои дыры. Пропустите этих джентльменов без единого слова или хотя бы косого взгляда. Живо!

Круг людей расступился так же быстро, как сомкнулся вокруг нас. Я ожидал, что в спину нам полетят камни или, по крайней мере, комья грязи, но ничего крепче приглушенного проклятья не было брошено нам вслед. Сыщик Хэчери опять растаял в темноте за нами, а Диккенс, постукивая тростью, продолжал идти резвой поступью в южном (как мне казалось) направлении.

Потом мы вошли в квартал, где заправляли проститутки и их хозяева.

Я смутно припомнил, что бывал здесь несколько раз в студенческие годы. Эта улица имела более респектабельный вид, чем большинство из пройденных нами за последние полчаса. Сквозь ставни на верхних этажах пробивался свет. Человек неосведомленный запросто мог бы подумать, что в этих домах проживают фабричные рабочие и механики. Но в воздухе здесь висела гнетущая тишина. На крыльцах, балконах и растрескавшихся плитах убогих тротуарчиков стояли группы молодых женщин – мы могли рассмотреть их в свете, падающем из нижних окон, не закрытых ставнями. Почти все выглядели не старше восемнадцати лет. Многим на вид было четырнадцать или даже меньше.

При виде сыщика Хэчери они не выказали ни малейшего испуга, но, напротив, принялись поддразнивать его насмешливыми голосами.

– Эй, Хибберт, привел нам парочку клиентов, да?

– Иди к нам, расслабься маленько, старина Хиб!

– Двери нашего дома открыты для тебя, инспектор Хиб, как и двери наших комнат.

Хэчери непринужденно рассмеялся:

– Твои двери всегда открыты, Мэри, хотя надо бы их закрыть. Придержите язычки, девочки. Вы не интересуетесь этих джентльменов нынче ночью.

Он был не совсем прав. Мы с Диккенсом остановились подле молодой девушки лет семнадцати, которая перегнулась через перила и пыталась получше рассмотреть нас в тусклом свете. Я разглядел, что она полного телосложения и одета в довольно короткое темное платье с глубоким вырезом. Заметив заинтересованный взгляд Диккенса, она широко улыбнулась, продемонстрировав отсутствие доброй половины зубов, и спросила:

– Ищешь табачок, дорогуша?

– Табачок? – переспросил Диккенс и искоса бросил на меня искрящийся весельем взгляд. – Да нет, милая моя. С чего вы взяли, что я ищу табак?

– Потому как коли он тебе нужен, так у меня имеется, – сказала девушка. – Закрутки, щепотки в пол-унции, сигары и все, что твоей душе угодно. Бери, коли хошь, – тебе надо лишь зайти в дом.

Улыбка Диккенса слегка поугасла. Он положил затянутые в перчатки руки на рукоять трости.

– Мисс, – мягко промолвил он, – вы когда-нибудь думали о том, чтобы изменить свою жизнь? Чтобы распрощаться с... – Его перчатка смутно белела в темноте, когда он широко повел рукой, указывая на безмолвные здания, безмолвные соборы женщин, улицу с разбитой мостовой и даже группу громил, с выжидательным видом стоявших поодаль, за пределами бледного круга света, точно стая волков. – Чтобы распрощаться с такой жизнью?

Девушка рассмеялась, показав немногие гнилые зубы, еще у нее оставшиеся. Смех до жути походил на сухой кашель больной старой карги.

– Мне – распрощаться с моей жистью, дорогуша? В таком случае почему бы тебе не распрощаться со своей? Тебе стоит лишь подойти к Ронни и ребятам, что околачиваются вон там.

– У вас нет будущего, нет надежды на будущее, – сказал Диккенс. – У нас ведь есть дома милосердия для падших женщин. Я сам участвовал в учреждении и обустройстве одного такого приюта в Бродстейрсе, где...

– Я никуда падать не собираюсь, – перебила она. – Разве только на спину – за положенную ничтожную плату. – Девушка повернулась ко мне. – Ну а как насчет тебя, коротышка? На вид ты еще вполне бодрячок. Хошь зайти за закуткой табачка, пока старина Хэчери не осерчал на нас?

Я прочистил горло. Честно говоря, дорогой читатель, я находил в этой шлюхе что-то соблазнительное, несмотря на ночную жару и зловоние, взгляды моих спутников и даже гнилозубую улыбку и безграмотную речь девушки.

– Пойдемте, – промолвил Диккенс, поворачиваясь и двигаясь прочь. – Мы здесь зря теряем время, Уилки.

* * *

– Диккенс, – заговорил я, когда мы прошли по очередному скрипучему мосточку через очередной вонючий ручей и зашагали по тесным кривым проулкам, застроенным совсем уж древними домами, – я должен спросить вас: эта наша... гм... экскурсия действительно как-то связана с вашим таинственным мистером Друдом?

Он остановился и оперся на трость.

– Конечно, друг мой. Мне следовало сказать вам еще за ужином. Мистер Хэчери сделал для нас нечто большее, чем просто согласился сопровождать нас в прогулке по этому... неприглядному... району. Он с недавних пор работает на меня и с толком применил свои сыщицкие способности. – Диккенс повернулся к великану, подошедшему к нам сзади. – Сыщик Хэчери, будьте так любезны, расскажите мистеру Коллинзу, что вам удалось установить к настоящему времени.

– Слушаюсь, сэр. – Громадный сыщик снял котелок, почесал затылок, запустив пальцы в курчавую шевелюру, а потом натянул шляпу обратно на голову. – Сэр, – промолвил он, теперь обращаясь ко мне, – в последние десять дней я навел справки относительно людей, бравших билеты в Фолкстоне или на других станциях, где останавливается поезд – хотя дневной курьерский идет до Лондона без остановок, – а также осторожно навел справки насчет других пассажиров, кондукторов и проводников, ехавших тогда в поезде. И вот какое дело, мистер Коллинз: никто по имени Друд и никто, подходящий под очень странное описа-

ние, данное мне мистером Диккенсом, не покупал билета на дневной курьерский и не находился в одном из пассажирских вагонов в момент крушения.

Я взглянул на Диккенса.

– Значит, либо ваш Друд проживает в одной из деревень близ Стейплхерста, – сказал я, – либо его вообще не существует.

Диккенс лишь помотал головой и знаком велел Хэчери продолжать.

– Но во втором почтовом вагоне, – сказал сыщик, – в Лондон везли три гроба. Два из них поступили из фолкстонского похоронного бюро, а третий был доставлен на том же пароме, на котором прибыл мистер Диккенс с дама... со своими спутниками. Согласно сопроводительным документам, третий гроб, доставленный из Франции – из какого именно города, в бумагах не уточнялось, – по прибытии поезда в Лондон надлежало передать некоему мистеру Друду, имя последнего не указывалось.

Я на минуту задумался. Со стороны публичных домов, оставшихся далеко позади нас, доносились приглушенные расстоянием крики.

– Так вы полагаете, что Друд находился в одном из гробов? – наконец спросил я, взглянув на Диккенса.

Писатель рассмеялся – почти восторженно, мне показалось.

– Ну конечно, дорогой Уилки. Оказывается, второй почтовый вагон сошел с рельсов – от тряски все посылки, мешки с корреспонденцией и... да, гробы сдвинулись со своих мест, – но с моста не сорвался. Это объясняет, почему мистер Друд спускался вместе со мной по береговому откосу несколькими минутами позже.

Я потряс головой:

– Но с какой стати ему путешествовать в... боже мой... в гробу? Это ж, наверное, обходится дороже, чем билет первого класса.

– Чуть дешевле, чуть дешевле, – подал голос Хэчери. – Я проверял. Стоимость транспортировки покойников чуть ниже стоимости билета первого класса, сэр. Не намного, всего на несколько шиллингов, – но все-таки.

Я по-прежнему не понимал.

– Но, Чарльз, – мягко промолвил я, – вы же не думаете, что ваш мистер Друд был... ну... призраком? Вампиром? Ходячим мертвецом?

Диккенс снова рассмеялся, еще веселее прежнего:

– Милейший Уилки! Право слово! Будь вы преступником, известным не только лондонской, но и портовой полиции, какой самый простой и надежный способ вернуться из Франции в Лондон вы бы выбрали?

Теперь настала моя очередь рассмеяться, но без всякой веселости, уверяю вас.

– Ну уж всяко не в гробу, – сказал я. – Лежать в гробу всю дорогу? Это... немыслимо.

– Да ничего подобного, милый мой, – сказал Диккенс. – Всего несколько часов неудобства. В наши дни путешествие на обычном пароме или поезде сопряжено с неменьшими неудобствами, если уж быть предельно откровенным. А кому захочется проверять гроб, в котором разлагается труп недельной давности?

– А труп мистера Друда действительно был недельной давности? – спросил я.

Диккенс лишь одобрительно прищелкнул пальцами, словно я удачно сострил.

– Ну и зачем мы идем к докам? – поинтересовался я. – Неужели сыщик Хэчери разузнал, куда приплыл гроб мистера Друда?

– Просто-напросто, сэр, – сказал Хэчери, – следственные действия, проведенные мной в припортовых кварталах, вывели нас на людей, утверждающих, что они знают Друда. Или знали. Или имели с ним какие-то дела. К ним-то мы и направляемся.

– Так поспешим же! – воскликнул Диккенс.

Хэчери поднял огромную ладонь, будто останавливая поток экипажей на Стрэнде.

– Считаю своим долгом предупредить вас, джентльмены, что сейчас мы входим непосредственно в Блюгейт-Филдс – райончик, прямо скажем, не совсем благополучный. Он не обозначен на большинстве городских карт, как и квартал Нью-Корт, куда мы держим путь. Джентльменам сюда опасно соваться. Здесь полным-полно таких типов, которым убить человека – раз плюнуть.

Диккенс рассмеялся.

– Полагаю, как и бандитам, недавно попавшимся нам навстречу, – сказал он. – Чем же здешние головорезы отличаются от всех прочих, дорогой Хэчери?

– Разница в том, господин хороший, что парни, давеча повстречавшиеся нам, так они отберут у вас кошелек и изобьют до полусмерти, а возможно, и до смерти. Но здесь, в Блюгейт-Филдс... здесь вам перережут глотку, сэр, просто чтобы проверить, не затупился ли нож.

Я взглянул на Диккенса.

– Ласкары, индусы, бенгальцы и прорва китайцев, – продолжал Хэчери. – А также ирландцы, немцы и тому подобный сброд, не говоря уже о самом гнусном отребье вроде сошедшей на берег матросни, охочей до женщин и опиума. Но тут, в Блюгейт-Филдс, опасаться следует прежде всего англичан. Китайцы и прочие иностранцы, они не едят, не спят, почти не разговаривают – у них в жизни одна радость: опиум. Но вот здешние англичане – народ на редкость лихой, мистер Диккенс. На редкость лихой.

Диккенс снова рассмеялся. Сейчас он производил впечатление крепко пьяного человека, но я-то знал, что он выпил лишь немного вина да портвейна за ужином. Он смеялся беспечным смехом малого ребенка, не ведающего забот.

– В таком случае мы вновь доверим нашу безопасность вам, инспектор Хэчери.

Я обратил внимание, что Диккенс повысил частного сыщика в звании. И Хэчери – судя по тому, как он смущенно переступил с ноги на ногу, – тоже заметил это.

– Есть, сэр, – сказал сыщик. – С вашего позволения, сэр, теперь я пойду впереди. И настоятельно советую вам, джентльмены, не отставать от меня.

* * *

Большинство улиц, оставленных нами позади, не значились на городских картах, а трудные лабиринты Блюгейт-Филдс были на них едва намечены, однако Хэчери, казалось, точно знал дорогу. Даже Диккенс, шагавший следом за огромным сыщиком, похоже, тоже ориентировался на местности. Хэчери отвечал на мои шепотом задаваемые вопросы, называя нормальным голосом различные топографические объекты: церковь Сент-Джордж-на-Востоке (не помню, чтобы мы мимо нее проходили), Джордж-стрит, Розмари-лейн, Кейбл-стрит, Нок-Фергюс, Блэк-лейн, Нью-роуд, Ройал-Минт-стрит. Иные из этих названий значились на уличных указателях.

В Нью-Корте мы свернули с вонючей улицы в темный двор – единственным источником освещения нам служил фонарь Хэчери – и прошли в проем в стене, больше похожий на дыру, нежели на ворота, ведущие в лабиринт других темных дворов. Здания здесь казались заброшенными, но я предположил, что просто все окна плотно закрыты ставнями. Когда мы сходили с булыжного покрытия, под ногами хлюпала то ли заиленная речная вода, то ли нечистоты.

Диккенс остановился возле окна с выбитыми стеклами, ныне представлявшего собой черный провал в глухой стене.

– Хэчери, ваш фонарь, – крикнул он.

Луч света выхватил из темноты три скукоженных грязно-белесых тельца, лежащих на разбитом каменном подоконнике. В первый момент я решил, что кто-то бросил здесь трех

освежаванных кроликов. Я подошел поближе, а потом быстро отступил назад, прикрывая платком нос и рот.

– Новорожденные младенцы, – сказал Хэчери. – Тот, что посередке, родился мертвым, полагаю. Остальные двое умерли вскоре после рождения. Не тройняшки. Родились и умерли в разное время, судя по работе, проделанной червями да крысами, и прочим признакам.

– Боже мой, – проговорил я сквозь платок. Желчь у меня поднялась к самому горлу. – Но зачем... оставлять их здесь?

– Это место не хуже любого другого, – сказал Хэчери. – Некоторые матери пытаются похоронить новорожденных. Запеленывают крошек в тряпье, надевают на них чепчики, прежде чем бросить в Темзу или закопать во дворе. Большинство не тратит времени на лишнюю возню. Им надо побыстрее возвращаться к работе.

Диккенс повернулся ко мне:

– Ну как, Уилки, все еще находите соблазнительной девку, что хотела затащить вас в дом за «табачком»?

Я не ответил, отступив еще на шаг и отчаянно борясь с рвотными позывами.

– Мне уже доводилось видеть такое, – сказал Диккенс на удивление бесстрастным, спокойным голосом. – Не в ходе моих прогулок по «гигантскому пеклу», а еще в детстве.

– Неужели, сэр? – промолвил сыщик.

– Да, много раз. Когда я был совсем маленьким, еще до переезда нашей семьи из Рочестера в Лондон, мы держали служанку по имени Мэри Уэллер. Она, зажав мою дрожащую ручонку в своей широкой мозолистой ладони, часто приводила меня в дома, где принимала роды. Так часто, что впоследствии я порой задавался вопросом, не следовало ли мне избрать ремесло повитухи. Чаше младенцы умирали, Хэчери. Я помню одни ужасные многоплодные роды – мать тоже скончалась – с пятью мертвыми младенцами. Кажется, их было пятеро, как ни трудно такое представить... хотя, может статься, и четверо, я ведь тогда был совсем крохой... и все они лежали рядком на чистой простынке, постеленной на комод. Знаете, что они напомнили мне тогда, в моем нежном возрасте четырех или пяти лет, Хэчери?

– Что, сэр?

– Свиные ножки, аккуратно разложенные на прилавке мясной лавки, – сказал Чарльз Диккенс. – Когда видишь такое зрелище, на ум невольно приходит Фиестов пир.

– Истинная правда, сэр, – согласился Хэчери.

Сыщик наверняка слыхом не слыхивал о древнегреческой трагедии,⁴ к эпизоду которой отсылал Диккенс своим замечанием. Но я понял, о чем говорит мой друг. К горлу снова подкатила желчь, и я с трудом подавил рвотный позыв.

– Уилки, – резко промолвил Диккенс, – дайте ваш платок, пожалуйста.

После секундного колебания я выполнил просьбу.

Вынув из кармана свой собственный шелковый платок, побольше и подороже моего, Диккенс аккуратно накрыл обоими платками три полуразложившихся, частично обглоданных крысами детских тельца и прижал края ткани кирпичами, вытасченными из разбитого подоконника.

– Вы позаботитесь о них, сыщик Хэчери? – спросил он, уже двигаясь прочь и вновь постукивая тростью по камню.

– Еще до рассвета, сэр. Можете на меня положиться.

– Мы в вас нисколько не сомневаемся, – сказал Диккенс, наклоняя голову и придерживая цилиндр, поскольку в тот момент мы проходили сквозь очередной низкий и узкий

⁴ Миф об Атрее и Фиесте отражен в трагедиях Софокла «Атрей, или Микенянки», Диогена и Акция «Атрей», Сенеки «Фиест».

проем в стене, ведущий в еще более темный и смрадный крохотный дворик. – Не отставайте, Уилки. Держитесь ближе к свету.

Наконец мы достигли открытой двери, различимой во мраке не лучше, чем последние три дюжины закрытых дверей, минованных нами. Сразу при входе, в глубокой нише, стоял маленький фонарь, источавший слабый голубоватый свет. Сыщик Хэчери хмыкнул и стал подниматься по узкой лестнице.

На лестничной площадке второго этажа царил крошечный мрак. Следующий лестничный марш был уже первого, но темноту здесь слегка рассеивал неверный тусклый свет единственной свечи, горевшей на следующей площадке. Мне показалось удивительным, что язычок пламени не гаснет в таком спертom, жарком и чудовищно смрадном воздухе.

Хэчери без стука распахнул дверь, и мы гуськом вошли в нее.

Мы оказались в первой и самой просторной из нескольких смежных комнат, которые все были видны сквозь открытые дверные проемы. В этой первой комнате на пружинной кровати, среди ворохов грязного тряпья, сидели вразвалку два ласкара и старуха. Одна из куч тряпья пошевелилась, и я понял, что на кровати лежат еще люди. Сцена освещалась несколькими оплавленными свечами и фонарем с красным стеклом, придававшим всему кровавый оттенок. Настороженные глаза уставились на нас из-под ворохов тряпья в смежных комнатах, и я понял, что на полу там валяются вповалку еще люди – китайцы, азиаты, ласкары. Несколько из них попытались уползти в угол, словно испугнутые внезапным светом тараканы. Древняя старуха на кровати (все четыре кроватных столбика были сплошь изрезаны досужими ножами, а пыльный полог ниспадал подобием истлевшего савана) курила своего рода трубку, изготовленную из чернильной склянки, что по пенни штука. От густого дыма и терпкого приторного запаха, смешанного со зловонием Темзы, проникавшим сквозь наглухо закрытые жалюзи, мой измученный изжогой желудок снова свело спазмом. Я пожалел, что не выпил второго стакана лауданума перед тем, как отправиться на встречу с Диккенсом сегодня вечером.

Хэчери легонько ткнул старую каргу деревянной полицейской дубинкой, которую отточенным движением вытащил из-за пояса.

– Эй, Сэл, давай-ка просыпайся, – резко сказал он. – Эти джентльмены хотят задать тебе несколько вопросов, и клянусь, ты ответишь на них исчерпывающим образом.

Сэл – беззубая древняя старуха со сморщенным мертвенно-бледным лицом, лишенным всякого выражения, если не считать тусклого порочного огонька в подслеповатых водянистых глазах, – искоса взглянула на Хэчери, потом на нас.

– Хиб, – проговорила она, в своем одурманенном состоянии все же признав великана. – Ты вернулся в полицию? Что, пришел за монетой?

– Я пришел задать несколько вопросов. – Хэчери снова легко ткнул старуху дубинкой во впалую грудь. – И мы не уйдем, пока не получим ответов.

– Спрашивай, – сказала Сэл. – Только позволь мне сперва поднаполнить трубочку старому Яхи, будь славным малым.

Я только сейчас заметил некую древнюю мумию, сидевшую среди подушек в углу за кроватью.

Старая Сэл проковыляла к сосуду, наполовину наполненному чем-то вроде густой патоки, что стоял на японском подносе посреди комнаты. Подцепив на кончик длинной иглы немного вязкого вещества, она подошла к мумии. Когда старый Яхи обернулся, я увидел, что он держит во рту опиумную трубку, которую не выпускал с момента нашего появления. Не открывая полностью глаз, он взял комочек патоки пожелтевшими пальцами с длинными ногтями, скатал в твердый шарик размером с горошину и положил оный в чашечку еще не потухшей трубки. Потом древняя мумия сомкнула веки, отвернулась прочь от света и неподвижно застыла в прежней позе, с поджатыми босыми ногами.

– Вот и еще четыре пенни к моему скромному капиталыцу, – просипела Сэл, воротившись в узкий круг красного света от фонаря. – Старому Яхи, как тебе наверняка ведомо, Хиб, уже за восемьдесят, и он курит опий добрых шестьдесят лет, а то и поболее. Он, знамо дело, не спит ни минутки, но на здоровье не жалуется и содержит себя в опрятности. Прокурит цельную ночь – а поутру покупает рис, рыбу да овощи, но прежде непременно начистит, надраит все в доме, включая себя самого. Шестьдесят лет курит опий – и ни дня не болел. Старый Яхи, неразлучный с опиём, пережил в добром здравии аж четыре эпидемии лихоманки, когда все вокруг мерли как мухи...

– Ну хватит, – перебил Хэчери. – Сейчас джентльмены зададут тебе несколько вопросов, Сэл... и коли ты дорожишь этой крысиной норой, которую называешь своим домом и коммерческим предприятием, коли ты не хочешь, чтобы я закрыл твой притон, – тогда, видит Бог, тебе лучше отвечать быстро и честно.

Старая карга с подозрительным прищуром уставилась на нас.

– Мадам, – начал Диккенс таким непринужденным и сердечным тоном, словно обращался к знатной даме, явившейся к нему с визитом, – мы ищем некоего человека по имени Друд. Нам известно, что он часто посещал ваш при... э-э... ваше заведение. Не подскажите ли нам, где его можно найти сейчас?

Одурманенная опиумом старуха испуганно вздрогнула и мигом пришла в чувство, как если бы Диккенс окатил ее ледяной водой из ведра. Глаза у нее на секунду расширились, а потом прищурились пуще прежнего и приобрели еще более подозрительное выражение.

– Друд? Не знаю я никакого Друда...

Хэчери улыбнулся и ткнул ее дубинкой посильнее.

– Так не пойдет, Сэл. Нам известно, что он часто сюда наведывался.

– Кто говорит такое? – прошипела старуха; угасающая свеча на полу зашипела с ней в унисон.

Хэчери снова улыбнулся и снова ткнул в костлявое плечо дубинкой, на сей раз еще сильнее.

– Мамаша Абдалла и Бубу, обе сказали мне, что в последние годы не раз видели здесь субъекта, которого ты называла Друдом... белый мужчина, беспалый, речь со странным акцентом. Говорят, он был твоим постоянным клиентом. От него воняет гнилым мясом, сказала мамаша Абдалла.

Сэл попыталась рассмеяться, но из горла у нее вырвался лишь задышливый хрип.

– Мамаша Абдалла – полоумная стервь. Бубу – лживая китаеза.

– Возможно, – улыбнулся Хэчери, – но не более полоумная и не более лживая, чем ты, моя Принцесса Пых-Пых. Некто по имени Друд бывал здесь, ты это знаешь – и все нам расскажешь.

По-прежнему улыбаясь, он ударил тяжелой дубинкой по длинным, изуродованным артритом пальцам старухи. Она взвыла от боли. Две груды тряпья, лежавшие в углу, поползли в соседнюю комнату, где шум не потревожит опиумного сна, коли здесь произойдет смертоубийство.

Диккенс вынул из кошелька несколько шиллингов и позвенел монетами в ладони.

– Вы извлечете выгоду из своей откровенности, мадам, если расскажете нам все, что вам известно о Друде.

– И проведешь несколько суток – а может, и недель – даже не в полицейском участке, а в самом сыром каменном мешке в Ньюгейтской тюрьме, если не расскажешь, – добавил Хэчери.

Угроза произвела на меня сильнейшее впечатление, какого не могла произвести на Диккенса. Я попытался представить несколько суток, не говоря уже о нескольких неделях, без

лауданума. Эта женщина явно употребляла опиум в таких дозах, какие мне и не снились. У меня заломило кости при одной мысли о том, чтобы хоть на день лишиться моего лекарства.

В водянистых глазах Принцессы Пых-Пых выступили настоящие слезы.

– Ну ладно, ладно, Хиб, хватит махать дубинкой да стращать меня. Я никогда тебе не перечила, верно? Всегда платила в срок, верно? Всегда...

– Рассказывай джентльменам про Друда, а насчет всего остального заткни глотку, – проговорил Хэчери тихим угрожающим голосом.

Он прижал дубинку к дрожащей руке старой карги.

– Когда вы в последний раз видели Друда? – спросил Диккенс.

– Где-то с год назад, – задыхаясь, просипела Принцесса Пых-Пых. – С тех пор он здесь не показывался.

– Где он живет, мадам?

– Не знаю. Клянусь, не знаю. Чоу-Чи Джон Поттер впервой привел сюда этого вашего Друда лет восемь, не то девять назад. Они курили опий в огромных количествах. Друд всегда платил золотыми соверенами, так что репутация у него, выходит, золотая. Он никогда не пел и не горланил, как другие, – вон, слышите, разорались в соседней комнате. Он просто сидел, курил и смотрел на меня. И смотрел на других. Иной раз он уходил первый, намного раньше всех остальных, а порой засиживался дольше всех.

– Кто такой Чоу-Чи Джон Поттер? – осведомился Диккенс.

– Джек уж помер, – сказала старуха. – А был он старым китайцем, корабельным коком. Христианское имя он получил, потому как окрестился, но он был слаб умом, сэр, он был ровно малый ребенок – только ребенок злой и жестокий, ежели напивался рому. Но вот от опия он никогда не дурел до безобразия, сколько б ни выкурил. Никогда.

– Чоу-Чи был другом Друда? – спросил Диккенс.

– У Друда – коли так звали вашего человека – не было друзей, сэр. Все боялись его. Даже Чоу-Чи.

– Но в первый раз он – Друд – пришел в ваше заведение вместе с Чоу-Чи?

– Ага, сэр, с ним самым. Но сдается мне, он просто столкнулся со старым Джеком на улице и попросил добросердечного недоумка проводить его до ближайшей опиумной курильни. Джек был рад угодить любому и за доброе слово, а уж за шиллинг – тем паче.

– Друд живет где-то поблизости? – поинтересовался Диккенс.

Старуха снова рассмеялась, но почти сразу закашлялась. Ужасные звуки продолжались, казалось, целую вечность. Наконец она несколько раз глотнула ртом воздух и просипела:

– Живет где-то поблизости? В Нью-Корте, Блюгейт-Филдс, припортовом квартале или Уайтчепеле? Нет, сэр. Ни в коем разе, сэр.

– Почему вы так считаете? – спросил Диккенс.

– Да мы бы знали, господин хороший, – проскрипела Сэл. – Малый навроде Друда нагнал бы лютого страху на всех мужчин, женщин и детей в Уайтчепеле, Шедуэлле, да и во всем Лондоне. Мы бы все сбежали из города.

– Почему? – спросил Диккенс.

– Из-за евонной истории, – прошипела карга. – Доподлинной и ужасной истории.

– Расскажите нам, – велел Диккенс.

Старуха заколебалась.

Хэчери несколько раз легонько ткнул дубинкой в костлявый локоть.

Немного повыв, старая Сэл поведала историю, которую слышала от покойного Чоу-Чи Джона Поттера, другого торговца опиумом по имени Яхи и одного из завсегдатаев своего заведения, ласкара Эммы.

– Друд в наших краях человек не новый, люди знающие говорят, что он наведывается сюда вот уже сорок с лишним лет...

– А какое у мистера Друда крестильное имя, мамаша? – перебил я.

Хэчери и Диккенс сердито посмотрели на меня. Я растерянно моргнул и отступил назад. Больше я не задал Принцессе Пых-Пых ни единого вопроса.

Сэл тоже бросила на меня сердитый взгляд:

– Крестильное имя? Да нету у Друда никакого крестильного имени. Он не христианин и никогда таковым не был. Звать его просто Друд. Это часть истории. Так мне рассказывать аль нет?

Я кивнул, чувствуя, как жаркая краска смущения заливает мое лицо между нижней дужкой очков и началом бороды.

– Друд, он просто Друд, – повторила старая Сэл. – Ласкар Эмма говорил, что раньше Друд был матросом. Яхи же, который старше, чем мамаша Абдалла и грязь, вместе взятые, говорит, что он был не матросом вовсе, а пассажиром на корабле, приплывшем в Англию давным-давно. Может, шестьдесят лет назад, а может, и все сто. Но в одном они сходятся: Друд родом из Египта...

Я заметил, как Диккенс и верзила-сыщик переглянулись, словно слова старухи подтверждали что-то, что они уже знали или подозревали.

– Он, значит, был египтянином, темнокожим, как все эти поганые магометане, – продолжала Сэл. – По слухам, тогда у него еще были волосы, черные как смоль. Иные болтают, что он был красавец-мужчина. Но он всегда курил опий. Говорят, едва он сошел на берег Англии, как вскорости уже попыхивал трубочкой из чернильной склянки. Сперва Друд истратил все свои деньги – многие тысячи фунтов, если люди не врут. Должно быть, он происходил из высшей египетской знати. По крайней мере, из богатого семейства. Или разжился деньжатами каким-нибудь нечистым образом. Старый Чин-Чин, уэст-эндский торговец опиумом, обобрал Друда до нитки, сдирая с него в десять, двадцать, пятьдесят раз дороже, чем брал со своих постоянных клиентов. Когда все денежки вышли, Друд пробовал работать – подметал улицы, показывал фокусы знатым господам и дамам на Фалькон-Сквер, – но денег, заработанных честным путем, на опий не хватало. Оно иначе и не бывает. Тогда египтянин заделался сперва карманником, а потом и настоящим головорезом – убивал и грабил матросов в припортовом квартале. Таким манером он оставался в милости у Чин-Чина и курил опий наилучшего качества, который китаец покупал в заведении Джонни Чанга, что в кофейне «Лондон и святая Катарина» на Рэтклиффской дороге... Потом Друд сколотил шайку – большей частью из египтян, но были там и малайцы, и ласкары, и свободные негры из матросни, и грязные ирландцы, и подлые немцы. Но в основном, повторяю, шайка состояла из египтян. У них своя религия, и они живут и молятся своим поганым богам в старом Подземном городе...

Не понимая, о чем речь, но боясь еще раз перебить рассказчицу, я взглянул сначала на Диккенса, потом на Хэчери. Оба они потрясли головой и пожали плечами.

– В один прекрасный день – или ночь – лет двадцать тому, – продолжала Сэл, – Друд напал из-за угла на одного матроса – вроде бы звали того Финн. Но Финн оказался не таким пьяным, как представлялось, и не такой легкой добычей, как думал Друд. Египтянин при разбоях да убийствах орудовал скорняжным ножом – а может, и кривым обвалочным навряде тех, какими пользуются уайтчепелские мясники, что вечно кричат про «превосходный филей отменного качества к завтрашнему ужину, без единой косточки»... Оно и верно, джентльмены и констебль Хиб: когда Друд заканчивал свою работенку в доках, в кошельке у него появлялись деньжата на опиум, а от матросов, чьи выпотрошенные трупы бросали в Темзу, точно рыбью требуху, не оставалось на виду ни единой косточки...

В одной из смежных комнат раздался стон. У меня мороз подрал по спине, но этот замогильный звук отнюдь не являлся откликом на историю старой Сэл. Просто у клиента в трубке выгорело все зелье. Карга не обратила на стон внимания, как и три ее замороженных слушателя.

– Но той ночью, двадцать лет назад, дело не вышло. Финн – коли того малого и вправду звали Финном – оказался не из тех, кого легко посадить на перо. Он перехватил руку Друда, вырвал у него нож – скорняжный ли, обвалочный или какой еще – и оттяпал египтянину нос. Потом он вспорол своего несостоявшегося убийцу от паха прям до ключицы. Да уж, за годы службы на корабле Финн наловчился орудовать ножом, так говорит ласкар Эмма. Друд, рассеченный чуть не надвое, но все еще живой, вопит: «Нет, нет, пощади, не надо!» – а Финн, значит, отрезает мерзавцу язык, потом отхватывает причинное место и решает затолкать его нехристю в пасть взамен языка. И как решает – так и делает.

Я вдруг осознал, что часто моргаю и дышу прерывисто. Я никогда прежде не слышал подобных речей из женских уст. Кинув взгляд на Неподражаемого, я понял, что он совершенно зачарован как рассказом, так и рассказчицей.

– А под конец, – продолжала Сэл, – Финн, или как там звали этого матроса, умевшего орудовать ножом, вырезает сердце из Друдовой груди и бросает труп египтянина в реку с причала, что находится в миле без малого отсюда. Хотите верьте, хотите нет, господа хорошие.

– Но постойте, – перебил Диккенс. – Это же случилось двадцать с лишним лет назад? А немногим раньше вы сказали, что Друд семь или восемь лет кряду ходил в ваше заведение и пропал всего около года назад. Или вы настолько одурманены наркотиком, что не помните собственного вранья?

Принцесса Пых-Пых злобно вперилась в моего друга, выставила вперед руки со скрюченными пальцами, сгорбилась пуще прежнего, и мне показалось, будто ее растрепанные космы на мгновение встали дыбом. Я вдруг исполнился уверенности, что она вот-вот обернется дикой кошкой и начнет яростно фырчать, кусаться и царапаться.

Вместо этого старуха прошипела:

– Друд мертв, вот о чем я вам толкую. Мертв с тех самых пор, как матрос зарезал его и бросил в Темзу лет двадцать назад. Но евонные приспешники и единоверцы – египтяне, малайцы, ласкары, ирландцы, немцы, индусы, – они выловили из реки распухший труп своего вожака через несколько дней после убийства, провели богомерзкие языческие ритуалы и оживили Друда. Ласкар Эмма говорит, дело было в Подземном городе, где египтянин живет и поныне. Старый Яхи, знававший Друда еще живым, говорит, что воскрешение произошло за рекой, среди гор конского и человеческого дерьма, которые вы, господа, деликатно называете «мусорной свалкой». Но где бы и как бы они ни обстрипали дело, Друда они таки оживили.

Я взглянул на Диккенса. В глазах у него горел восхищенный и одновременно озорной огонек. Кажется, я уже упоминал, что Чарльз Диккенс был не из тех людей, рядом с кем хочется стоять во время заупокойной службы: живущий в нем ребенок просто не мог удержаться от улыбки, от многозначительного взгляда, от лукавого подмига в самые неподходящие моменты. Порой мне казалось, что Чарльз Диккенс готов смеяться над всем подряд – священным ли, нечестивым ли. Я испугался, что и сейчас он начнет смеяться. Поясняю: испугался я не потому, что ситуация в целом не располагала к смеху, но потому, что в тот момент я нимало не сомневался, что все клиенты опиумного притона, все бедолаги, зарывшиеся в кучи тряпья, забившиеся в углы, спрятавшиеся под драными одеялами и развалившиеся на подушках, прислушиваются к нашему разговору со всем вниманием, на какое способен одурманенный наркотиком мозг.

Я испугался, что, если вдруг Диккенс сейчас рассмеется, все эти существа – а в первую очередь старая Сэл, окончательно превратившаяся в огромную разъяренную кошку, – набро-

сятся на нас и разорвут на куски. В таком случае даже великан Хэчери не спасет нас, подумалось мне тогда в минутном приступе страха.

Но Диккенс, вопреки худшим моим ожиданиям, просто вручил Сэл три золотых соверена – положил монеты в грязную желтую ладонь и своей рукой свернул в кулак скрюченные шишковатые пальцы старухи.

– Где мы сейчас можем найти Друда, голубушка? – мягко спросил он.

– В Подземном городе, – прошептала она, зажимая монеты в обеих ладонях. – В самой глубине Подземного города, где китаец по прозвищу Король Лазарь снабжает Друда и всех прочих чистейшим опиумом. В самой глубине Подземного города, где он обитает вместе с другими мертвецами.

Диккенс призывно махнул рукой, и мы вышли за ним следом из задымленной комнаты на темную лестничную площадку.

– Сыщик Хэчери, – промолвил писатель, – вы когда-нибудь слышали о китайце по прозвищу Король Лазарь, торгующем опиумом под землей?

– Да, сэр.

– И вам ведомо о Подземном городе, который Сэл упоминала с таким трепетом?

– Да, сэр.

– Он находится где-то поблизости?

– Вход в него – да, сэр.

– Вы проведете нас туда?

– Ко входу-то? Да, сэр.

– Вы сопроводите нас в этот... Подземный город? Останетесь ли нашим Вергилием?

– Вы спрашиваете, спущусь ли я с вами *туда*, мистер Диккенс?

– Именно так, инспектор, – почти весело сказал Диккенс. – Именно так. За двойную плату против оговоренной, поскольку риск вдвое больше.

– Нет, сэр.

Диккенс изумленно моргнул, поднял трость и легонько постучал великана по груди бронзовой рукоятью в виде птичьего клюва.

– Ну же, ну, сыщик Хэчери. Шутки в сторону. А за тройную плату против оговоренной вы сопроводите нас с мистером Коллинзом в этот манящий и влекущий Подземный город? Приведете нас к Лазарю и Друду?

– Нет, сэр, – ответил Хэчери. Голос его звучал хрипло, словно в горле у него все еще першило от опиумного дыма. – Я ни при каких обстоятельствах не сунусь в Подземный город. Это мое последнее слово на сей счет, сэр. И я настойчиво прошу вас не спускаться туда, коли вы дорожите своей жизнью и рассудком.

Диккенс кивнул, точно обдумывая совет.

– Но вы нам покажете... как вы там выразились?... «вход» в Подземный город.

– Да, сэр. – Тихий голос Хэчери напоминал треск рвущегося картона. – Я покажу... с великим сожалением.

– Вот и славно, – промолвил Диккенс и стал спускаться по темной лестнице. – Просто превосходно. Сейчас уже за полночь, но ночь только начинается. Мы с Уилки пойдем дальше – и вниз – одни.

Огромный сыщик грузной поступью двинулся следом за писателем. Я стронулся с места не сразу. Видимо, густой опиумный дым, коим я надышался в тесном замкнутом помещении, подействовал на мои мышцы и сухожилия ниже пояса: ноги у меня словно налились свинцом и не слушались. Я в буквальном смысле слова не мог ступить ни шагу.

Потом, чувствуя в ногах болезненное колотье, каким сопровождается процесс восстановления кровообращения в онемелой конечности, я все же умудрился сделать первый неуклюжий шаг вниз. Мне пришлось тяжело опереться на трость, чтобы не упасть.

- Вы идете, Уилки? – донесся снизу до противного возбужденный голос Диккенса.
- Да! – крикнул я, мысленно добавив «черт бы тебя побрал». – Иду, Диккенс.

Глава 5

Здесь я должен ненадолго прервать повествование, дорогой читатель, чтобы объяснить, почему мне всегда приходилось сопровождать Диккенса в разных нелепых и опасных походах. Однажды, к примеру, я вместе с ним взобрался на Везувий. В другой раз, в Камберленде, я чуть не погиб на горе Кэррик-Фелл.

Восхождение на Везувий было одним из множества приключений, пережитых во время путешествия по Европе в 1853 году, совершенного Диккенсом, Огастесом Эггом и мной. Строго говоря, из трех путешественников только двое являлись холостяками и оба были значительно моложе Неподражаемого, но, когда мы резво носились по Европе осенью и зимой упомянутого года, именно Диккенс вел себя по-мальчишески беспечно, словно молодой холостяк, у которого еще вся жизнь впереди. Посетив почти все любимые места Диккенса на Континенте, мы в конце концов прибыли в Лозанну, где давний эксцентричный друг писателя, преподобный Чонси Таунсенд, прочитал нам ряд лекций о призраках, ювелирном деле и (излюбленная тема Диккенса) месмеризме, а оттуда направились в Шамони и сразу по прибытии поднялись на Мер-де-Глас, дабы заглянуть в ледниковые расселины глубиной в тысячу футов. В Неаполе, где я рассчитывал отдохнуть от приключений, Диккенс настоял на восхождении на Везувий.

Он был разочарован, глубоко разочарован, что вулкан не изрыгает ослепительного огня. Очевидно, сильное извержение 1850 года истощило силы Везувия: пока мы находились в Неаполе, из жерла постоянно валил густой дым, но ни единого языка пламени так и не вырвалось. Сказать, что Диккенс расстроился, значит ничего не сказать. Однако он быстро собрал группу горнолазов – в нее входил археолог и дипломат Остин Генри Лайард, – и мы безотлагательно ринулись покорять дымящуюся вершину.

За семь лет до нашего восхождения, ночью 21 января 1845 года, Диккенс видел здесь мощное извержение огня и серных паров, вполне способное удовлетворить интерес человека, настолько равнодушного к опасности, как он.

Зимой 1845-го Неподражаемый впервые приехал в Неаполь, и активность вулкана тогда была весьма высока. Прихватив с собой жену и свояченицу, Диккенс выступил в поход – с шестью верховыми лошадьми, вооруженным солдатом в качестве охранника и (поскольку погода не благоприятствовала и вулкан действительно мог разбушеваться в любую минуту) по меньшей мере с двадцатью двумя проводниками. Они начали восхождение около четырех часов пополудни – женщин несли в паланкинах, а Диккенс шагал впереди вместе с проводниками. Тем вечером писатель пользовался тростью подлиннее и потолще той, которой нынче ночью постукивал по булыжному покрытию трущобных улочек Шедуэлла. И я уверен, что тогда, во время первого своего подъема на Везувий, он шел несколько не медленнее, чем сейчас и здесь, на ровной местности, расположенной на уровне моря. Любой труднопреодолимый склон (как я неоднократно убеждался, к великой своей досаде и крайней усталости) только побуждал Чарльза Диккенса вдвое ускорить и без того слишком резвый шаг.

На конусообразный лавовый купол, венчающий Везувий, взойти не осмелился никто, кроме Диккенса и одного-единственного проводника. Вулкан бодрствовал. Языки пламени поднимались на высоту многих сотен футов, из каждой расселины на снежных полях и скалистых склонах валили серные пары, пепел и дым. Друг писателя, Роше, остановился в нескольких сотнях футов от кратера, боясь приблизиться еще хоть на шаг к огненному вихрю, и истошно прокричал, что Диккенс с проводником неминуемо погибнут, коли осмелятся подойти ближе к жерлу.

Диккенс настоял на том, чтобы подняться к самому краю кратера с наветренной и самой опасной стороны (одни только серные пары не раз убивали людей, находившихся

несколькими милями ниже вершины) и заглянуть, как он впоследствии писал своим друзьям, «в самый кратер... в пылающие недра горы... Прекраснейшее зрелище из всех мыслимых, еще более ужасное, чем Ниагара...». Выше он привел в пример американский водопад как воплощение могущества и грозной силы Природы. Везувий и Ниагара равны в своей мощи, писал он, «как огонь и вода».

Все остальные участники восхождения, включая испуганных и изнуренных Кэтрин с Джорджиной (на подступах к вершине они ехали верхом), впоследствии показали, что Диккенс вернулся с лавового купола «в одежде, занявшейся огнем в полудюжине мест, и весь покрытый ожогами». Оставшиеся на нем обгорелые лохмотья дымились в ходе всего долгого спуска – тоже невероятно трудного. На одном длинном, покрытом голым ледяным панцирем участке склона, где нескольким участникам похода пришлось связаться веревкой безопасности ради, а проводникам – вырубать во льду ступени, один из проводников поскользнулся и с пронзительным криком покатился вниз, в темноту, а минутой позже за ним последовал англичанин из числа примкнувших к нашему отряду. Диккенс и прочие продолжили путь, не зная об участи этих двоих. Позже писатель сказал мне, что англичанин выжил, но судьба проводника так и осталась нам неизвестной.

За тринадцать лет до нашей вылазки в лондонские трущобы на поиски Друда Диккенс затащил нас с Эггом на Везувий, но – благодарение Господу и относительно спокойствию вулкана! – этот поход оказался гораздо менее тяжелым и опасным. Диккенс и Лайард ушли вперед скорым шагом, что позволило нам с Эггом благоразумно делать передышки в пути при каждой необходимости. И перед нами, скажу прямо, открывалось поистине великолепное зрелище, когда мы стояли возле самого кратера и смотрели на заходящее над Сорренто и Капри солнце – огромное и кроваво-красное за пеленой вулканических паров и дыма. Мы спускались с горы без всякого труда при свете факелов; тонкий месяц всплывал над нашими головами, и все мы пели хором английские и итальянские песни.

Тот поход не шел ни в какое сравнение с нашим восхождением (едва не закончившимся для меня трагически) на гору Кэррик-Фелл, совершенным вскоре после последнего представления «Замерзшей пучины» в Манчестере в 1857 году.

Диккенс тогда, как и нынче ночью в шедуэллских трущобах, просто кипел неистовой, неугасимой энергией, порожденной, казалось, чувством некоего глубинного неудовлетворения. Через несколько недель после заключительного показа спектакля он сказал мне, что сходит с ума и что (если я верно помню слова) «восхождения на все до единой горы Швейцарии или какой-нибудь дикий загул до полного упадка сил принесли бы мне лишь самое малое облегчение». В записке, которую он прислал мне однажды утром после наканунешнего совместного ужина, сопровождавшегося обильными возлияниями и обсуждениями (как серьезными, так и в высшей степени юмористическими) самых разных вопросов, говорилось: «Я хочу бежать от себя самого. Ибо, когда я вдруг заглядываю в собственную душу, как сейчас, я вижу непостижимую, неописуемую пустоту и невысказанное страдание». Могу добавить, что душевные страдания моего друга были не только невысказанными, но также совершенно подлинными и крайне тяжелыми. Тогда я приписал все единственно неудачному браку Диккенса с Кэтрин, но сейчас понимаю, что главным образом дело было в его влюбленности в восемнадцатилетнюю девочку-женщину по имени Эллен Тернан.

В 1857 году Диккенс внезапно сообщил мне, что мы с ним немедленно отправляемся в Камберленд, дабы вдохновиться на написание ряда совместных статей о Северной Англии для нашего журнала «Домашнее чтение». Он собирался назвать сей труд «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев». Даже будучи соавтором (а в действительности, не стану скрывать, основным автором), я вынужден признать, что результатом нашей поездки стала серия заурядных и вялых путевых очерков. Уже много позже я понял, что в Камбер-

ленде Диккенса интересовала единственно чертова Кэррик-Фелл, а писать путевые очерки он вообще не имел никакого желания.

Эллен Тернан с сестрами и матерью выступала на театральных подмостках в Донкастере, каковой город, как я теперь понимаю, и являлся подлинной целью нашей дурацкой поездки на север страны.

Вот уж поистине нелепо было бы, если бы я погиб на Кэррик-Фелл из-за тайной страсти Диккенса к восемнадцатилетней актрисе, даже не догадывавшейся о его чувствах.

Из Лондона мы доехали поездом до Карлайла, а на следующий день добрались верхом до деревушки под названием Хески, расположенной у подножья горы «Кэррок, или Кэррик, или Кэррок-Фелл, или Кэррик-Фелл, о которой я читал, дорогой Уилки. Название варьируется».

Именно на Кэррик-Фелл я едва не погиб.

Чтобы дать выход кипучей энергии и приглушить жгучее разочарование, Диккенсу требовалось в срочном порядке совершить горное восхождение, и по какой-то причине, не известной никому и даже, я уверен, ему самому, выбор пал на Кэррок- или Кэррик-Фелл.

В крохотной деревушке Хески не нашлось желающих провести нас к горе, а тем более подняться с нами на вершину. Погода стояла ужасная: холод, ветер, дождь. В конце концов Диккенс уговорил хозяина убогой местной гостиницы, где мы остановились, стать нашим проводником, хотя старик признался, что он «в жисти ни разу не взбирался на тую гору, сэр».

Мы не без труда отыскиали дорогу к Кэррик-Фелл, чья вершина скрывалась за хмурыми вечерними облаками, и начали подъем. Хозяин гостиницы часто останавливался в нерешительности, но Диккенс обычно продолжал двигаться дальше, наобум выбирая направление. С наступлением темноты, когда из-за плотного тумана сумерки сгустились до мрака, поднялся пронизывающий ветер, однако мы не повернули назад. Вскоре мы заблудились. Старик признался, что не представляет даже, на какой стороне горы мы находимся. Театральным жестом, словно отважный Ричард Уордор в его исполнении, Диккенс извлек из кармана компас, определил нужное направление, и мы продолжили наш путь во мгле.

Через тридцать минут купленный в городе компас разбился. Дождь полил пуще прежнего, вскоре мы промокли до нитки и страшно замерзли. Тьма северной ночи сгущалась все сильнее, пока мы петляли, кружили по каменистым склонам. Наконец мы отыскивали предположительную вершину горы – скользкий каменистый гребень среди множества скользких каменистых гребней, окутанных непроницаемым туманом и ночной мглой, – и начали спускаться вниз, не имея ни малейшего представления, в какой стороне находятся наша деревня, наша гостиница, наш ужин, наш очаг и наши кровати.

Два часа мы шагали под проливным дождем, в густом тумане и в кромешном мраке, уже близком к стигийскому. Когда мы вышли к ревущему потоку, преградившему нам путь, Диккенс приветствовал его, как давно потерянного и вновь обретенного друга. «По нему мы дойдем до речки, протекающей у подножья горы, – объяснил писатель дрожащему от холода, несчастному хозяину гостиницы и своему равно несчастному соавтору. – Идеальный проводник!»

Проводник оказался не только идеальным, но еще и опасным. Стены ущелья становились все круче, скалы от дождя и коварной наледи становились все скользче, бурный поток под нами становился все шире. Я отстал от спутников, поскользнулся, упал со всего маху и почувствовал, как у меня хрустнула лодыжка. Лежа наполовину в воде, изнемогая от боли и дрожа от холода, голодный и совершенно обессиленный, я воззвал в темноту о помощи, надеясь, что Диккенс и хозяин гостиницы еще не удалились за пределы слышимости. В противном случае, понимал я, мне конец. Я не смогу ступить на поврежденную ногу, даже опираясь на трость. Мне придется ползти на четвереньках несколько миль до речки, а потом – если я чудом угадаю верное направление – ползти еще невесть сколько миль вдоль берега

до деревни. Я человек городской, дорогой читатель. Подобные физические нагрузки мне не по плечу.

По счастью, Диккенс услышал мои крики. Он вернулся и нашел меня лежащим в воде, с чудовищно распухшей лодыжкой.

Поначалу он просто поддерживал меня, прыгавшего на одной ноге по предательски скользкому склону, но в конечном счете потащил на руках. Нисколько не сомневаюсь, он воображал себя Ричардом Уордзором, несущим на руках своего соперника Фрэнка Олдерсли через арктические пустоши. Покуда Диккенс меня не ронял, мне было наплевать, каким там фантазиям он предается.

В конце концов мы отыскивали гостиницу. Хозяин, дрожащий от холода и бормочущий проклятья себе под нос, разбудил свою жену и велел приготовить нам поздний ужин, или ранний завтрак. Слуги растопили камин в общей комнате и наших спальнях. Доктора в деревне не было – собственно говоря, там и деревни-то как таковой не было, – а посему Диккенс самолично накладывал мне ледяные компрессы и туго бинтовал распухшую лодыжку, покуда мы не вернулись в цивилизованный мир.

Мы отправились в Уигтон, потом в Эллонби, потом в Ланкастер, потом в Лидс – продолжая делать вид, будто собираем материал для путевых очерков, хотя я мог передвигаться лишь при помощи двух тростей и безвылазно сидел в гостиницах, – а затем наконец поехали в Донкастер, который с самого начала являлся нашей истинной и тайной целью (вернее, целью Чарльза Диккенса).

Там мы посмотрели несколько спектаклей, в одном из них Эллен Тернан мелькнула в эпизодической роли. На следующий день Диккенс отправился на пикник с семейством Тернан и (теперь я уверен) на долгую прогулку наедине с Эллен. Что произошло во время той прогулки, какие мысли и чувства были тогда выражены и отвергнуты, по сей день остается тайной, но я точно знаю, что из Донкастера Неподражаемый вернулся в прескверном настроении. Когда я попытался условиться с ним о часах совместной работы в конторе «Домашнего чтения» над завершением и редактурой наших слабых путевых очерков, Диккенс ответил мне необычайно доверительным письмом, где, в частности, говорилось: «...неудача, постигшая меня в Донкастере, все еще тяготит меня столь сильно, что я совершенно не в состоянии писать и не знаю ни минуты покоя (когда бодрствую)».

Как я уже сказал, тогда я не знал, да и сейчас не знаю, в чем именно заключалась постигшая Диккенса неудача, но в самом скором времени она изменила весь ход нашей жизни.

Я рассказываю об этом, дорогой читатель, поскольку во время нашей ночной вылазки в июле 1865 года я заподозрил, а сейчас, по прошествии многих лет, утвердился в своих подозрениях, что на поиски таинственного Друда жаркой и смрадной июльской ночью Диккенса толкало не столько желание найти воскрешенного мертвеца, сколько то же, что он искал в Эллен Тернан в 1857 году в Донкастере и в течение восьми окутанных тайной последующих лет, до Стейплхерстской катастрофы.

Но, как и в случае с нашим восхождением на Кэррок- или Кэррик-Фелл, подобная одержимость может очень и очень дорого стоить другим людям, пусть сам одержимый и не злоумышляет против них. Другие люди могут в конечном счете погибнуть или получить увечья, как жертвы самого что ни на есть преднамеренного преступления.

* * *

Минут двадцать мы шагали по еще более темным и вонючим трущобным кварталам. Изредка я замечал признаки скученного человеческого обитания в покосившихся многоквартирных домах, порой слышал приглушенные голоса и посвистывания в темноте по обе сто-

роны тесных улочек, а в иные разы тишину нарушало лишь постукивание Диккенсовой трости по булыжному мощению там, где таковое имелось. Мне вспомнилось описание ночной поездки из последнего и еще незаконченного романа Диккенса «Наш общий друг», когда два молодых человека катят в наемном экипаже к Темзе, чтобы опознать труп, найденный и вытасненный из реки отцом и дочерью, которые таким образом зарабатывают на жизнь:

Колеса катились дальше; катились мимо Монумента, мимо Тауэра, мимо Доков: и дальше, мимо Рэтклиффа, мимо Ротерхита, и дальше, мимо тех мест, где скопились подонки человечества, словно смытый сверху мусор, и задержались на берегу, готовые вот-вот рухнуть в реку под собственной тяжестью и пойти ко дну.⁵

Честно говоря, подобно двум молодым повесам из упомянутого романа, я не следил за дорогой, а просто шагал за громоздкой, неуклюжей тенью сыщика Хэчери и стройной, гибкой тенью Диккенса. Впоследствии мне пришлось пожалеть о своей невнимательности.

Внезапно зловонный запах поменял оттенок и стал резче.

– Ф-фу! Мы что, снова приближаемся к реке? – воскликнул я, обращаясь к двум своим спутникам, смутно различимым во мраке.

– Хуже, сэр, – промолвил Хэчери, оглядываясь через плечо. – Это кладбище, сэр.

Я осмотрелся по сторонам. Поначалу у меня сложилось впечатление – противоречащее, впрочем, здравому смыслу, – будто мы приближаемся либо к Черч-стрит, либо к Лондонской больнице, но темная улочка выходила на своего рода поле, окруженное стеной и железной оградой с воротами. Никакой церкви поблизости не наблюдалось, а значит это было не церковное кладбище, а муниципальное, каких появилось очень много за последние пятнадцать лет.

Видите ли, дорогой читатель, в наше время без малого три миллиона лондонцев жили, ели и спали в буквальном смысле слова на могилах, где лежало по меньшей мере столько же, но почти наверняка гораздо больше мертвецов. Разрастаясь, Лондон поглощал окрестные селения и деревни вместе со всеми кладбищами, и потому гниющие останки сотен и сотен тысяч наших возлюбленных усопших оказались в городской черте. Поначалу, например, погост при церкви Сент-Мартин-ин-зе-Филдс занимал площадь всего в каких-то двести квадратных футов, но к 1840 году, за двадцать пять лет до сей насыщенной событиями жаркой и зловонной июльской ночи, на нем уже покоились останки от шестидесяти до семидесяти тысяч лондонцев. Сейчас их там гораздо больше.

В пятидесятых годах, в пору Великого Зловония и самых страшных холерных эпидемий, всем стало ясно, что переполненные кладбища представляют серьезную опасность для здоровья людей, которым не посчастливилось жить поблизости от них. Все до единого городские кладбища были переполнены сверх всякой меры – положение вещей не изменилось и поныне. Многие тысячи мертвецов погребались в мелких могилах рядом с часовнями, ремесленными мастерскими, школами и на пустырях между частными домами. Посему принятый в 1852 году Закон о погребении (за него рьяно выступал Диккенс) предписывал Министерству здравоохранения учредить кладбища, открытые для всех мертвецов независимо от вероисповедания.

Возможно, вам также известно, дорогой читатель, что при моей жизни до недавних пор всех мертвецов в Англии надлежало погребать по христианскому обряду, на приходских кладбищах. Это правило нарушалось лишь изредка. В 1832 году парламент положил конец принятому в Англии обыкновению хоронить самоубийц прямо посреди общественных дорог, предварительно вогнав кол в сердце грешника. Упомянутый Парламентский акт

⁵ Перевод В. Топер.

– образец современной мысли и филантропии – разрешил погребать самоубийц на приходских кладбищах вместе с добрыми христианами, но только в случае, коли тело предадут земле между девятью часами вечера и полночью, без церковного обряда. Следует заметить также, что обязательное расчленение трупов убийц тоже было отменено в 1832 году – поистине знаменательный год нашей просвещенной эпохи! – и в нынешнее либеральное время на христианских кладбищах нередко покоятся даже душегубы.

Многие – точнее, большинство – из таких могил не отмечены надгробными камнями, но рано или поздно они все равно обнаруживаются. Кладбищенские рабочие, днем и ночью роющие новые могилы, неизменно вонзают лопаты в гнилую плоть, что лежит в земле слоями, и кости безымянных скелетов. На иных кладбищах нанимают людей, чтобы они каждое утро обходили территорию и проверяли (особенно после проливных дождей), не поднялись ли где на поверхность разложившиеся останки прихожан, которым слишком уж не терпится услышать трубный глас Судного дня. Я не раз видел, как рабочие во время таких обходов везут в тачках полусгнившие руки, ноги и другие, хуже поддающиеся опознанию части тел – так усердный садовник в каком-нибудь имении собирает с земли суки и ветки после сильной бури.

Такие новые места захоронений стали называться «муниципальными» кладбищами в отличие от «приходских», и они пользовались большой популярностью. Первые муниципальные кладбища являлись сугубо коммерческими предприятиями (на Континенте и по сей день принято выкапывать и выбрасывать на свалку останки, распиливать прекрасные надгробья на плиты для облицовки стен или мощения тротуаров, а сам участок продавать клиентам понадежнее, если родственники не вносят своевременно плату за могилы своих возлюбленных усопших), но после того, как, в соответствии с требованиями парламентских актов пятидесятых годов, многие переполненные приходские кладбища в Лондоне закрылись, почти все наши новые кладбища получали статус муниципальных – часть территории выделялась для приверженцев традиционной церкви (там земля освящалась и строились часовни), а часть отводилась диссентерам. Интересно, приятно ли правоверным христианам и сектантам проводить Вечность в столь близком соседстве?

Похоже, кладбище, к которому мы приближались сейчас в темноте, изначально являлось погостом: церковь здесь пришла в запустение, когда окрестные кварталы стали слишком опасными для добропорядочных граждан, а потом церковное здание и вовсе сожгли с целью освободить участок под строительство многоквартирных домов, позволяющих домовладельцам выжимать еще больше денег из постояльцев-иммигрантов, – но сам погост сохранился и принимал все новых и новых мертвецов... вероятно, был захвачен диссентерами пару веков назад, а в какой-то момент в течение последних двадцати лет превращен в платное муниципальное кладбище.

Когда мы подошли к сырým стенам и черной железной оgrade, я невольно задался вопросом, кто согласился бы заплатить хотя бы пенни за возможность упокоиться здесь. Огромные деревья, некогда росшие среди погоста, погибли уже много поколений назад и ныне обратились в окаменелые скелеты, вздымающие обкорнанные ветви к черным зданиям, что нависали над кладбищем со всех сторон. С обнесенной стеной и кованой оградой территории тянуло такой нестерпимой вонью, что я полез в карман за платком и только потом вспомнил, что Диккенс забрал его у меня, дабы накрыть мертвых младенцев. Я приготовился увидеть зеленое облако миазмов над могилами – и действительно, туман, сгустившийся в преддверии очередного теплого, парного дождя, бледно светился во мраке.

Диккенс подергал высокие черные кованые ворота, но они оказались заперты на большой висячий замок.

«Слава богу», – подумал я.

Однако сыщик Хэчери запустил руку под пальто и отстегнул от тяжело нагруженного пояса увесистую связку ключей. Попросив Диккенса подержать фонарь, он перебрал звенящие ключи и нашел нужный, подошедший к замку. Огромные кованые ворота – сплошные полудужья да завитки – медленно отворились с таким надсадным скрипом, словно уже прошел не один десяток лет с последнего раза, когда желающие избавиться от трупа возлюбленного усопшего заплатили за вход на кладбище.

Мы зашагали по разбитым мощеным дорожкам, между темных надгробных плит, просевших могил и древних склепов, мимо мертвых деревьев. Судя по пружинистой походке и бодрому постукиванию трости, Диккенс наслаждался каждой секундой нашей прогулки. Я же боролся с рвотными позывами и внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь мягкое и вязкое.

– Я знаю это кладбище, – внезапно сказал Диккенс. В ночном безмолвии голос его прозвучал так громко, что я слегка подпрыгнул. – Я видел его при свете дня и описал в «Путешественнике не по торговым делам». Но за ворота я прежде не заходил. Я назвал его Городом Ушедших, а конкретно это место – Погостом Святого Страшателя.

– В самую точку попали, сэр, – откликнулся Хэчери. – Именно что Страшателя.

– Я не заметил на железных остриях по верху ворот украшений в виде черепов со скрещенными костями, – промолвил Диккенс все тем же неуместно громким голосом.

– Они по-прежнему там, мистер Диккенс, – заверил Хэчери. – Я почел за лучшее не светить на них фонарем. Ну вот мы и пришли, сэры. Вход в Подземный город.

Мы остановились возле узкого запертого склепа.

– Вы шутите? – спросил я.

Мой тон мог показаться несколько раздраженным. Я пропустил поздневечерний прием лауданума, и теперь подагрическая боль терзала мое тело, а голова раскалывалась, словно туго стянутая металлическим обручем.

– Нет, мистер Коллинз, никаких шуток, сэр. – Хэчери снова перебрал ключи в связке и вставил очередной массивный ключ в древний замок на металлической двери склепа. Высокая дверь с резким скрипом отворилась, когда он налег на нее плечом. Сыщик направил луч света внутрь и выжидательно посмотрел на нас с Диккенсом.

– Это нелепо, – сказал я. – Здесь не может быть никакого Подземного города, да и вообще никакого подземелья. Мы на протяжении нескольких часов чавкали сапогами по зловонной речной жиже. Уровень грунтовых вод здесь наверняка такой высокий, что все могилы вокруг затоплены.

– На самом деле – нет, сэр, – прошептал Хэчери.

– Эта часть Ист-Энда расположена на скальном основании, дорогой Уилки, – сказал Диккенс. – Под десятифутовым слоем земли – сплошная скала. Безусловно, вы знаете геологическое строение вашего родного города! Вот почему их соорудили именно здесь.

– Соорудили – что? – осведомился я, стараясь (но без особого успеха) не выдать своего раздражения.

– Катакомбы, – ответил Диккенс. – Подземные погребальные галереи под монастырями. А под древними христианскими катакомбами почти наверняка находятся еще более древние римские кубикулы.

Я не стал спрашивать, что означает слово «кубикулы». Я не сомневался, что в самом скором времени этимология данного термина прояснится.

Диккенс вошел в склеп, за ним последовал сыщик, а потом и я. Конусообразный луч света пробежал по всему крохотному помещению. Каменный постамент в центре маленькой усыпальницы – достаточно длинный, чтобы на нем поместился гроб, саркофаг или завернутое в саван тело, – был пуст. Никаких ниш в стенах или любых других мест, пригодных для упокоения мертвецов, здесь не наблюдалось.

– Тут же ни черта нет, – сказал я. – Кто-то стащил труп.

Хэчери тихо рассмеялся:

– Да бог с вами, сэр! Здесь никогда не было никаких трупов. Этот склеп является – и всегда являлся – просто входом в царство мертвых. Посторонитесь, пожалуйста, мистер Коллинз.

Я отступил к покрытой влагой каменной стене, а сыщик низко наклонился, налег плечом на растрескавшийся мраморный постамент и поднатужился. Скрип камня, трущегося о камень, болезненно резал слух.

– Я сразу заметил здесь дугообразные следы, прорезанные на старых плитах, – сказал Диккенс сыщику, по-прежнему напираящему плечом на постамент. – Свидетельство столь же ясное, как желобки, прорытые в земле сильно провисшими воротами.

– Ага, сэр, – пропыхтел Хэчери, продолжая напрягать силы. – Но обычно они засыпаны листьями, грязью и прочим мусором и не видны даже при свете фонаря. Вы очень наблюдательны, мистер Диккенс.

– Да, – довольно согласился писатель.

Я испугался, что пронзительный визг и скрежет медленно ползущего по каменному полу постамент привлечет на кладбище толпу любопытных головорезов, но потом вспомнил, что Хэчери запер кованые ворота за нами. Мы были заперты на кладбище. А поскольку дверь самого склепа неохотно отворилась только под напором могучего плеча Хэчери и он с таким же усилием закрыл ее за нами, мы были заперты и в самом склепе. Черное треугольное отверстие в полу становилось все шире по мере того, как постамент сдвигался все дальше в сторону, и в нем уже показались крутые каменные ступеньки – при одной мысли, что такая громада будет поставлена на место и мы окажемся в буквальном смысле погребенными под тяжеленным камнем в запертом склепе на запертом кладбище, у меня мороз подрал по спине, несмотря на душную жару июльской ночи.

Наконец Хэчери выпрямился. Черное треугольное отверстие в полу имело незначительные размеры, чуть более двух футов в ширину, но, когда Диккенс осветил в него фонарем, я увидел очень крутую каменную лестницу, уходящую в темноту.

Диккенс поднял лицо, причудливо освещенное снизу, и спросил сыщика:

– Вы точно не пойдете с нами, Хэчери?

– Нет, сэр, благодарю вас, сэр, – сказал великан. – Договоренность не позволяет.

– Договоренность? – с легким любопытством переспросил Диккенс.

– Так точно, сэр. Неписаное соглашение, издавна существующее между полицейскими и обитателями Подземного города. Мы не спускаемся вниз и не осложняем жизнь им, сэр, а они не поднимаются вверх и не осложняют жизнь нам.

– Похоже на соглашение, какое большинство живых пытается заключить с мертвыми, – негромко промолвил Диккенс, вновь переводя взгляд на темное отверстие в полу и крутые ступеньки.

– Именно так, сэр, – подтвердил сыщик. – Я знал, что вы поймете.

– Ну ладно, мы, пожалуй, пойдем, – сказал Диккенс. – Вы найдете обратную дорогу без фонаря, сыщик? Нам определенно понадобится фонарь внизу.

– О да, сэр, – ответил Хэчери. – У меня к поясу прицеплен еще один фонарь на случай необходимости. Но я покамест никуда не уйду. Подожду здесь до рассвета. Коли вы к тому времени не вернетесь, я отправлюсь напрямик в участок на Леман-стрит и доложу об исчезновении двух джентльменов.

– Это очень любезно с вашей стороны, сыщик Хэчери. – Диккенс улыбнулся. – Но вы же сами сказали: констебли и инспекторы не полезут вниз на наши поиски.

– Ну, не знаю, сэр. – Сыщик пожал плечами. – Все-таки оба вы известные писатели и знатные господа, – может статься, они сочтут возможным сделать исключение в вашем случае. Я просто надеюсь, что нам не придется выяснять, так это или нет.

Диккенс рассмеялся:

– Пойдемте, Уилки.

– Мистер Диккенс, – промолвил Хэчери, извлекая из-под пальто огромный пистолет револьверного типа. – Пожалуй, вам следует прихватить с собой вот это. Хотя бы для того, чтобы отпугивать крыс.

– О, это лишнее, – сказал Диккенс, отстраняя оружие облаченной в белую перчатку рукой.

(Вам следует помнить, дорогой читатель, что в наше время – я понятия не имею, как там принято у вас, – никто из служащих полиции не носил при себе огнестрельного оружия. И почти никто из преступников не носил. Слова Хэчери о «договоренностях» между преступным миром и стражами порядка во многих отношениях соответствовали истине.)

– Я возьму, – торопливо сказал я. – С радостью. Терпеть не могу крыс.

Револьвер оказался страшно тяжелым, каким и представлялся на вид, и едва помещился в правый карман моего сюртука. У меня возникло странное ощущение, будто наличие столь увесистого груза в кармане слегка нарушает мое телесное равновесие. Я сказал себе, что душевное мое равновесие наверняка нарушится гораздо сильнее, коли при мне не окажется оружия, когда в нем возникнет необходимость.

– Вы умеете обращаться с таким оружием, сэр? – спросил Хэчери.

Я пожал плечами.

– Полагаю, принцип заключается в том, чтобы направить эту штуковину на мишень тем концом, где отверстие, а потом спустить курок, – сказал я.

Все тело у меня мучительно ныло. Я словно воочию видел перед собой бутылку с лауданумом, стоящую на полке в запертой кухонной кладовой.

– Да, сэр, – кивнул Хэчери; котелок сидел у него на голове так туго, что, казалось, немилосердно сдавливал черепную коробку. – Принцип вы правильно понимаете. Вероятно, вы заметили, что у револьвера два ствола, мистер Коллинз. Верхний потоньше и нижний потолще.

Я этого не заметил. Я попытался извлечь несуразно тяжелый револьвер из кармана, но он зацепился за подкладку и порвал карман моего дорогого сюртука. Тихо чертыхаясь, я умудрился наконец вытащить оружие и принялся разглядывать его при свете фонаря.

– На нижний ствол не обращайте внимания, сэр, – произнес Хэчери. – Он предназначен для стрельбы картечью. Своего рода дробовик. Бьет со страшной силой. Надеюсь, сэр, он вам не понадобится, и в любом случае у меня нет зарядов к нему. Мой брат, до недавних пор служивший в армии, купил эту пушку у одного американца, хотя изготовлена она во Франции, – но не беспокойтесь, сэр, на ней стоят славные английские клейма, с нашей родной Бирмингемской оружейной фабрики. Барабан для стрельбы из верхнего гладкого ствола заряжен, сэр. Там девять пуль.

– Девять? – переспросил я, заталкивая огромный тяжелый револьвер обратно в карман и стараясь при этом не порвать подкладку еще сильнее. – Прекрасно.

– Может, возьмете еще про запас, сэр? У меня в кармане мешочек с пулями и капсюлями. Тогда мне придется показать вам, как пользоваться шомполом, сэр. Но это совсем несложно.

Я чуть не рассмеялся при мысли об уйме самых разных предметов, какие могут лежать в карманах и висеть на поясе сыщика Хэчери.

– Нет, спасибо, – сказал я. – Девяти вполне достаточно.

– Они сорок второго калибра, сэр, – продолжал сыщик. – Девяти штук будет более чем достаточно для крысы средних размеров – четвероногой или двуногой, смотря какая вам попадется.

Я невольно содрогнулся.

– Мы вернемся до рассвета, Хэчери, – сказал Диккенс, убирая хронометр в жилетный карман. Он начал спускаться по крутым ступенькам, держа фонарь низко перед собой. – Пойдемте, Уилки. До восхода солнца осталось меньше четырех часов.

* * *

– Уилки, вы знаете Эдгара Аллана По?

– Нет, – ответил я.

Мы спустились уже на десять ступенек, но еще не видели впереди конца круто наклоненной лестничной шахты. Ступеньки – высотой по меньшей мере три фута – походили скорее на каменные блоки египетских пирамид и были скользкими от подземной влаги, сочившейся повсюду тонкими струйками; маленький фонарь отбрасывал на них чернильно-черные обманчивые тени, и, если бы любой из нас споткнулся или оступился здесь, дело непременно закончилось бы переломанными ребрами и, вполне возможно, свернутой шеей. Я полушагнул-полуспрыгнул на следующую ступеньку, стараясь не отстать от пляшущего узкого конуса света, что исходил от руки Диккенса.

– Какой-то ваш приятель, Чарльз? – спросил я. – Специалист по криптам и катакомбам, надо полагать?

Диккенс расхохотался. Гулкое эхо в каменной шахте прозвучало до жути громко. Я искренне надеялся, что больше он не станет смеяться.

– На первый ваш вопрос я с полной определенностью отвечу «нет», дорогой Уилки, – промолвил он. – А на второе предположение скажу «вполне возможно».

Диккенс остановился на ровной площадке у подножья лестницы, посветил фонарем на наклонные стены, низкий сводчатый потолок, а потом направил луч света в туннель, уходящий в темноту. Черные прямоугольники по обеим сторонам подземного коридора навели на мысль об открытых проемах. Я прыгнул с последней ступеньки и встал рядом с Диккенсом. Он повернулся ко мне и положил обе руки – в правой был зажат фонарь – на бронзовую рукоять трости.

– Я познакомился с По за пару недель до завершения своей поездки по Америке в сорок втором году, – сказал он. – Этот малый навязал мне сначала свою книгу, «Гротески и арабески», а потом и свое общество. Держась со мной как с равным или со старым другом, По часами разговаривал со мной – вернее, сам с собой в моем присутствии – о литературе, о своих произведениях, о моих произведениях и снова о своих произведениях. Я так и не удосужился прочитать его рассказы, пока находился в Америке, но Кэтрин прочитала. Они произвели на нее чарующее впечатление. Похоже, этот По любит писать о склепах, трупах, преждевременных погребениях и сердцах, вырванных из груди живых людей.

Я пристально вглядывался в темноту за пределами крохотного круга света от фонаря. Оттого что я отчаянно напрягал зрение (а оно у меня слабое), мне мерещилось, будто повсюду сгущаются и шевелятся тени, похожие на расплывчатые высокие фигуры. Головная боль усилилась.

– Полагаю, все это имеет какое-то отношение к делу, Диккенс, – резко промолвил я.

– Только в том смысле, что сейчас у меня складывается отчетливое ощущение: мистер По получил бы от нашей вылазки гораздо больше удовольствия, чем в данный момент испытываете вы, друг мой.

– В таком случае, – грубовато сказал я, – мне очень хотелось бы, чтобы ваш друг По находился здесь сейчас.

Диккенс снова расхохотался, и гулкое эхо, запрыгавшее меж незримых стен во мраке, на сей раз прозвучало еще жутче прежнего, даром что заметно тише.

– Возможно, он и находится здесь. Вполне возможно. Помнится, я читал в прессе, что мистер По умер всего через шесть или семь лет после нашей встречи – совсем еще молодым, и при весьма странных обстоятельствах, возможно не совсем приличных. Но если судить по нашему непродолжительному, но весьма интенсивному общению, данное место в точности походит на такого рода каменную обитель, какую с радостью посещал бы призрак мистера По.

– Так что же это за место такое? – спросил я.

Вместо ответа Диккенс поднял повыше фонарь и двинулся в темный туннель. Черные проемы по обеим его сторонам оказались на поверку входами в вытянутые прямоугольные камеры. Диккенс направил луч света в первую из них, расположенную по правую руку от нас.

На расстоянии футов шести от входа камеру перекрывала затейливая железная решетка от пола до потолка – внушительная, из толстых перекрестных прутьев, но с отверстиями в виде розеток. Красно-оранжевое железо выглядело таким древним и ржавым, что наверняка рассыпалось бы в прах, если бы я ступил в проем и ударил по решетке кулаком. Но я не собирался делать ничего подобного. За решеткой стояли рядами в несколько ярусов массивные гробы – мне показалось, окованные свинцом. Я насчитал их около дюжины в неверном, пляшущем свете фонаря.

– Вы можете прочесть надпись на табличке, Уилки?

Диккенс имел в виду белую каменную доску, закрепленную высоко на железной решетке. Другая доска валялась на полу, устланном слоем грязи и ржавчины, а третья стояла на ребре вплотную к решетке.

Я поправил очки и прищурился. Камень покрывали белые разводы, образовавшиеся от сырости, и темно-красные ржавые потеки. Я разобрал несколько букв:

Место пог(неразборчиво)ния
(неразборчиво) преп(неразборчиво)ого
Л. Л. В(неразборчиво)

Я прочитал это Диккенсу, вошедшему в проем, чтобы получше все там разглядеть, а потом сказал:

– Значит, они не римские.

– Катакомбы-то? – спросил Диккенс в обычной своей рассеянной манере, опускаясь на корточки и пытаясь разобрать надпись на каменной доске, что валялась в грязи, словно рухнувшее надгробие. – Да, вы правы. В целом они сооружены по римскому образцу – глубокие подземные галереи с погребальными камерами по обеим сторонам, – но подлинные римские катакомбы имеют лабиринтообразную планировку. Это христианские катакомбы, но очень древние, Уилки, очень древние, а потому они построены, как и часть нашего города, по сетчатой схеме. В данном случае мы имеем главную галерею с погребальными камерами, окруженную коридорами поменьше. Вы, конечно же, заметили, что сводчатое перекрытие здесь, надо мной, выложено из кирпича, а не из камня... – Он направил луч света вверх.

Только тогда я увидел кирпичный свод. И только тогда сообразил, что красноватая «грязь», лежащая на полу толстым (местами в несколько дюймов) слоем, – это мелкая кирпичная и известковая крошка, осыпавшаяся с потолка.

– Это христианские катакомбы, – повторил Диккенс. – Расположенные прямо под часовней.

– Но там наверху нет никакой часовни, – прошептал я.

– В настоящее время – нет, – согласился Диккенс, поднимаясь с корточек. Он попытался стряхнуть грязь с белых перчаток, не выпуская при этом из рук фонаря и трости. – Но когда-то была. Полагаю, монастырская часовня. Часть монастыря при церкви Святого Страшателя.

– Церковь Святого Страшателя вы выдумали, – обвиняющим тоном сказал я.

Диккенс бросил на меня странный взгляд.

– Разумеется, выдумал, – промолвил он. – Ну что, двинемся дальше?

Мне нисколько не нравилось стоять в темном коридоре, где за моей спиной сгустился кромешный мрак, а потому я обрадовался, когда Диккенс вышел в галерею с намерением продолжить путь. Но сначала он повернулся и еще раз направил луч света на установленные ярусами гробы за ржавой решеткой.

– Я забыл упомянуть, – негромко проговорил он, – что, как и в случае с римскими прототипами, погребальные камеры в христианских катакомбах называются кубикулы. Каждая кубикула на протяжении многих десятилетий сохранялась за одним семейством или, возможно, за членами определенного монашеского ордена. Римляне обычно сооружали катакомбы сразу целиком, по единому плану, но христианские погребальные галереи строились, расширялись, достраивались веками, и потому зачастую они беспорядочно расползаются в стороны. Вы знаете кофейню «У Гаррауэя»?

– На Иксчейндж-элли? – уточнил я. – Близ Корнхилла? Ну конечно. Я не раз пил там кофий в ожидании, когда начнутся торги в аукционном доме по соседству.

– Под кофейней Гаррауэя тоже находятся древние монастырские склепы. – Теперь Диккенс говорил шепотом, словно боялся привлечь внимание какого-нибудь призрака. – Я спускался вниз, ходил там среди винных бочек. Я часто задаюсь вопросом, не определяют ли туда на вечный покой замшелых завсегдатаев кофейни, всю жизнь проторчавших в общей зале, – туда, в прохладные подземные склепы, где обретают покой страждущие души, покинув мир, который болваны наверху называют «реальной действительностью». – Он взглянул на меня. – Но разумеется, даже парижские катакомбы – а вы там бывали вместе со мной, дорогой Уилки, – так вот, даже парижские катакомбы не смогли бы вместить всех истинно страждущих лондонцев, будь мы вынуждены спуститься под землю, в затхлую тьму, где нам самое место, когда мы разучаемся счастливо жить среди добропорядочных людей.

– Диккенс, что за вздор вы несе... – Я осекся.

В темном коридоре, за пределами тусклого круга света от нашего маленького фонаря, послышался слабый шорох или крадущиеся шаги.

Диккенс направил луч света в сторону, откуда донеслись звуки, но мы не увидели ничего, кроме каменных стен да зыбких теней. Галерея – с плоским каменным потолком, а не сводчатым кирпичным – тянулась ярдов на пятьдесят самое малое. Диккенс зашагал вперед, ненадолго останавливаясь у некоторых проемов, чтобы посветить в них фонарем. Все это были кубикулы – огороженные одинаковыми решетками погребальные камеры, где стояли рядами и ярусами массивные гробы. В конце галереи Диккенс тщательно осветил всю торцовую стену и даже поводил по камню свободной рукой, нажимая там и сям ладонью, словно в поисках скрытого пружинного механизма, открывающего потайную дверь. Безрезультатно.

– Ну вот... – начал я.

Что я собирался сказать? «Ну вот, видите! Никакого Подземного города здесь нет. Никакого мистера Друда здесь нет. Вы удовлетворены? Пожалуйста, Диккенс, пойдете домой. Мне нужно срочно принять лауданум».

– Похоже, больше здесь ничего нет, – сказал я.

– Это не так, – возразил Диккенс. – Вы заметили свечу на стене?

Нет, я не заметил. Мы вернулись к предпоследней кубикуле, и Диккенс поднял фонарь повыше. Да, действительно, в маленькой нише в стене стоял огарок толстой сальной свечи.

– Может, она оставлена здесь древними христианами? – предположил я.

– Не думаю, – сухо промолвил Диккенс. – Зажгите ее, пожалуйста, друг мой. И идите обратно к входу впереди меня.

– Зачем? – спросил я, но, так и не дождавшись ответа, послушно взял огарок, выудил коробок спичек из левого кармана сюртука (несуразно тяжелый револьвер по-прежнему оттягивал мой правый карман) и зажег свечной фитиль. Диккенс кивнул, довольно бесцеремонно, и я медленно зашагал по галерее в обратном направлении.

– Вот оно! – внезапно воскликнул Диккенс, когда мы преодолели примерно половину расстояния.

– Что?

– Разве вы не видели, как пламя свечи затрепетало, Уилки?

Если я и видел, то не обратил внимания. Однако я сказал:

– Да просто от входа сквозняком тянет.

– Не думаю, – отрывисто бросил Диккенс.

Упорство, с каким он выражал несогласие с каждым следующим моим замечанием, начинало раздражать меня. Подняв фонарь, Диккенс заглянул сначала в кубикулу слева от нас, а потом в противоположную.

– Ага! – воскликнул он.

По-прежнему держа перед собой слабо трепещущую свечу, я тоже заглянул в камеру, но не обнаружил там ничего, способного вызвать такое вот удивленное и довольное восклицание.

– На полу, – указал Диккенс.

Я увидел, что в красной пыли там протоптана своего рода тропинка, ведущая за железную решетку, к гробам.

– Недавнее погребение? – предположил я.

– Сильно в этом сомневаюсь, – промолвил Диккенс, упорствуя в своей решимости отвечать возражением на каждую мою реплику.

Он первым вошел под своды усыпальницы, отдал мне фонарь и потряс железную решетку обеими руками. Часть решетки отворилась внутрь подобием калитки, края и петли которой не были видны даже с расстояния нескольких футов.

Диккенс тотчас забрал у меня фонарь и вошел в проем. Через несколько мгновений он стал словно тонуть в рыжей пыли, устилавшей пол. Я не сразу сообразил, что он спускается по ступенькам в глубине погребальной камеры.

– Пойдемте же, Уилки! – донесся до меня гулкий голос писателя.

Я заколебался. У меня была свеча. У меня был револьвер. Через тридцать секунд я достиг бы подножья ведущей наверх лестницы, а спустя еще тридцать секунд оказался бы в кладбищенском склепе – снова под защитой сыщика Хэчери.

– Уилки!

Писатель и фонарь оба уже скрылись из виду. Блик света все еще дрожал на кирпичном потолке над местом, где исчез Диккенс. Я оглянулся на темный вход в кубикулу, потом посмотрел на ряды массивных гробов, стоящих ярусами на постаментах по обе стороны от тропинки, протоптанной в красной пыли, потом снова обернулся.

– Уилки, прошу вас, поторопитесь! И загасите свечу, но непременно возьмите огарок с собой. Запас масла в фонаре не вечен.

Я прошел сквозь проем в решетке и двинулся между гробами к еще невидимой лестнице.

Глава 6

Узкая лестница из расшатанных каменных блоков тянулась под сводчатым кирпичным потолком. Через несколько минут мы оказались в другой галерее с кубикулами.

– Здесь тоже склепы, – прошептал я.

– Только более древние, – шепотом откликнулся Диккенс. – Обратите внимание, Уилки: эта галерея изгибается. И потолок тут гораздо ниже. И входы в кубикулы замурованы, что заставляет меня вспомнить один рассказ покойного мистера По.

Я не стал спрашивать, о чем рассказ. Я собирался спросить, почему мы разговариваем шепотом, но еще не успел открыть рот, когда Диккенс обернулся и прошептал через плечо:

– Видите свет впереди?

Я увидел не сразу, а только когда Диккенс пригасил наш «бычий глаз», почти полностью опустив шторку. Свет был очень тусклый и, казалось, исходил из-за поворота каменного коридора.

Диккенс двинулся вперед, знаком велел мне следовать за ним. Мощенный каменными плитами пол в этой более глубокой и древней галерее был неровным, несколько раз я спотыкался и не падал только потому, что успевал опереться на трость. Сразу за поворотом налево и направо от галереи ответвлялись равно широкие коридоры.

– Это римская катакомба? – шепотом спросил я.

Диккенс легко помотал головой, но мне показалось, что он не столько отвечает мне, сколько пытается меня успокоить. Он указал на проем в стене справа, откуда исходил слабый свет.

Это была единственная незамурованная кубикула. Темный драный занавес закрывал почти весь арочный проем, но оттуда все же просачивался тусклый свет. Я машинально нащупал рукоять револьвера в кармане, когда Диккенс решительно прошел за тронутый тле-ном полог.

По обеим сторонам этой длинной и узкой кубикулы находились глубокие погребальные ниши и проемы, ведущие в другие кубикулы. Трупы здесь покоились не в гробах.

Тела лежали на деревянных полках, расположенных ярусами от пола до потолка вдоль стен узкого помещения, и все они принадлежали мужчинам, причем по виду явно не англичанам, не христианам и не римлянам. Скелетообразные тела, но не скелеты. Судя по темно-коричневой коже, иссохшей сморщенной плоти и похожим на стеклянные шарики глазам, они были мумифицированы. Действительно, эти трупы в истлевших одеждах и лохмотьях запросто сошли бы за египетские мумии, если бы не азиатские черты мумифицированных лиц да косой разрез немигающих глаз. Когда Диккенс остановился, я наклонился, чтобы получше рассмотреть лицо одной из мумий.

Она моргнула.

Я вскрикнул и отпрянул, уронив свечу. Диккенс поднял ее, подошел ближе и посветил фонарем на полку с трупом.

– Вы думали – это мертвецы? – прошептал он.

– А разве нет?

– Неужели вы не заметили опиумных трубок? – тихо спросил писатель.

Нет, не заметил. Но сейчас наконец увидел. Эти трубки – почти неразличимые в полумраке, поскольку мумии накрывали ладонями чашечки и мундштуки, – были вырезаны гораздо затейливее, чем дешевые трубки в заведении Сэл наверху.

– И не уловили опиумного запаха? – прошептал Диккенс.

Нет. Но сейчас наконец почуял. Мягкий, тонкий, сладковатый аромат, не идущий ни в какое сравнение с наркотическим смрадом в притоне Сэл. Я бросил взгляд назад и осознал,

что дюжины мертвецов, лежащих в древнем подземном склепе на изгнивших деревянных полках, на самом деле являются древними, но еще вполне живыми азиатами, курящими свои трубки.

– Пойдемте, – промолвил Диккенс и вошел в боковое помещение, откуда лился слабый свет.

Вдоль стен там тоже тянулись ряды полок (на иных из них я разглядел подушки), и в воздухе висел опиумный дым погуще, но в самом центре помещения, на широкой деревянной скамье, установленной на каменном саркофаге, сидел в позе лотоса китаец, который казался таким же древним и мумифицированным, как недвижные тела на полках позади нас и перед нами. Только надетые на нем шапочка и халат, или балахон, или как там называется подобный наряд, был из цветастого чистого шелка, красно-зеленого и сплошь расшитого золотыми и синими узорами. Длинные белые усы старика свисали дюймов на десять ниже подбородка. Позади него, у каменной стены, стояли, сложив руки в низу живота, два голых по пояс здоровенных парня, тоже китайцы, но значительно моложе. Их мощные мускулы блестели в свете двух длинных красных свечей, что высились по обе стороны от тощей буддоподобной фигуры.

– Мистер Лазарь? – спросил Диккенс, подступая ближе к старику. – Или мне следует называть вас Король Лазарь?

– Добро пожаловать, мистер Диккенс, – промолвил китаец. – И вам, мистер Коллинз, добро пожаловать.

Я невольно отступил на шаг назад, услышав из уст столь типичного олицетворения Желтой Угрозы свое имя, произнесенное на чистейшем английском языке, без какого-либо акцента. Честно говоря, позже я осознал, что едва уловимый акцент все же имелся, но... кембриджский.

Диккенс тихо рассмеялся:

– Вы знали, что мы здесь появимся?

– Конечно, – ответил китайский Король Лазарь. – До моего ведома доводят практически все события, происходящие в Блюгейт-Филдс, Шедуэлле, Уайтчепеле, да и во всем Лондоне, коли на то пошло. А уж о визитах особ столь выдающихся и знаменитых – а я почитаю за таковых вас обоих, джентльмены, – мне докладывают незамедлительно.

Диккенс отвесил легкий, но изящный поклон. Я же мог только таращиться. Потом осознал, что по-прежнему сжимаю в левой руке погасшую свечу.

– Значит, вы знаете, зачем мы пришли, – сказал Диккенс.

Король Лазарь кивнул.

– Вы поможете нам найти его? – продолжал Диккенс. – Я имею в виду Друда.

Лазарь поднял ладонь. Я с изумлением увидел, что ногти у него длиной дюймов шесть. И загнутые. А ноготь на мизинце по меньшей мере вдвое длиннее.

– Подземный город хорош тем, – промолвил Король Лазарь, – что здесь не беспокоят тех, кто не хочет, чтобы их беспокоили. В данном отношении мы полностью сходимся с мертвецами, что окружают нас здесь.

Диккенс понимающе кивнул.

– Так это и есть Подземный город? – спросил он.

Теперь настала очередь Короля Лазаря рассмеяться. В отличие от надсадного, хриплого клекота Опиумной Сэл, смех у китайца был сочный и разливистый.

– Мистер Диккенс, это обычный опиумный притон в обычной катакомбе. В прошлом наши клиенты приходили из наземного мира и возвращались обратно, а теперь большинство предпочитает оставаться здесь годами и десятилетиями. Но Подземный город? Нет, это не Подземный город. Можно сказать, это тамбур перед прихожей перед коридором, ведущим в вестибюль Подземного города.

– Вы поможете нам пройти туда... и разыскать его? – спросил Диккенс. – Я понимаю, вы не хотите беспокоить других... э-э... обитателей этого мира, но Друд дал мне понять, что хочет, чтобы я его нашел.

– И каким же образом он это сделал? – поинтересовался Король Лазарь.

Признаться, у меня возник такой же вопрос.

– Потрудившись представиться мне, – ответил Диккенс. – Сообщив, в какой именно район Лондона направляется. Напустив на себя таинственность, чтобы возбудить во мне любопытство и желание продолжить наше знакомство.

Китаец на деревянной скамье не кивнул и не моргнул. Только тогда я осознал, что за все время разговора он еще ни разу не мигнул. Его темные глаза казались такими же тусклыми и безжизненными, как у мумий на полках вокруг нас. Наконец Лазарь заговорил – тихим голосом, словно споря сам с собой:

– Было бы весьма прискорбно, если бы кто-нибудь из вас, джентльмены, написал и опубликовал что-нибудь о нашем подземном мире. Вы сами видите, как он хрупок... и легкодоступен.

Я подумал о колоссальных усилиях, которые пришлось приложить Хэчери, чтобы могучим плечом сдвинуть с места каменный постамент, закрывающий вход в верхнюю подземную галерею; подумал о едва заметной тропке, тянущейся по красной пыли к невидимой калитке в железных воротах; подумал о жуткой узкой лестнице, ведущей на второй ярус катакомб, и о лабиринте, по которому мы прошли, чтобы найти этот опиумный притон... в общем и целом я не был уверен, что разделяю мнение китайского короля относительно доступности этого места.

Однако Диккенс, казалось, согласился с Лазарем. Он кивнул, но все же сказал:

– Я хочу единственно найти Друда. У меня нет желания писать о Подземном городе. – Он повернулся ко мне. – Вы ведь чувствуете то же самое, правда, мистер Коллинз?

Я неопределенно хмыкнул, предоставив королю мумий-опиоманов понимать это, как ему вздумается. Я был романистом. Все и вся в моей жизни служило материалом для моих сочинений. И уж конечно, писатель, стоявший сейчас рядом со мной в свете свечей, всегда руководствовался данным принципом в большей степени, чем любой другой писатель современности или прошлого. Как он мог говорить за меня и заявлять, что я никогда не напишу о столь необычном месте? Как он мог сам с честными глазами обещать такое? Человек, превративший своих отца, мать, несчастную жену, бывших друзей и бывших возлюбленных в сырье для штамповки своих литературных персонажей.

Король Лазарь медленно наклонил голову в шелковой шапочке, каковое движение можно было истолковать как самый медленный в мире кивок.

– Было бы крайне прискорбно, если бы с вами, мистер Диккенс, или с вами, мистер Коллинз, приключилась какая-нибудь беда, пока вы гостите у нас здесь или исследуете Подземный город под нами.

– Мы тоже так считаем! – почти весело воскликнул Диккенс.

– Однако никто не может гарантировать вашу безопасность за пределами моих владений, – продолжал китаец. – Вы сами поймете это, когда... если... продолжите путь.

– Мы не просим никаких гарантий, – сказал Диккенс. – Просим лишь посоветовать, как нам действовать дальше и куда направиться отсюда.

– Вы меня не совсем поняли. – Впервые за все время разговора в голосе Короля Лазаря послышались по-азиатски резкие нотки. – Если с одним из вас, джентльмены, что-нибудь случится внизу, второму не позволят вернуться в наземный мир и написать, рассказать, дать показания о случившемся.

Диккенс бросил на меня взгляд, потом снова повернулся к Королю Лазарю:

– Мы понимаем.

– Не совсем, – промолвил буддоподобный старик. – Если с вами обоими что-нибудь случится внизу – а случись что с одним из вас, как вы теперь понимаете, второй непременно разделит участь товарища, – ваши тела найдут далеко отсюда. А именно – в Темзе. Вместе с телом сыщика Хэчери. Сыщик прекрасно это понимает. Необходимо, чтобы и вы тоже ясно осознали это, прежде чем примете решение продолжить путь.

Диккенс снова взглянул на меня, но никакого вопроса не задал. Если честно, в тот момент я предпочел бы отойти с ним в сторонку, обсудить дело и проголосовать. А если совсем честно, в тот момент я предпочел бы просто пожелать опиумному китайскому королю приятного вечера и убраться оттуда восвояси – подняться из подземной усыпальницы на свежий ночной воздух, пусть и насыщенный зловонными миазмами переполненного кладбища, нареченного Диккенсом «Погост Святого Страшателя».

– Мы все понимаем, – горячо говорил Диккенс китайцу. – Мы согласны с поставленными условиями. Но мы все равно хотим спуститься вниз, в Подземный город, и разыскать мистера Друда. Как нам это сделать, Король Лазарь?

Наглость Диккенса, который принял жизненно важное решение за нас обоих, не потрудившись хотя бы посоветоваться со мной или поинтересоваться моим мнением, настолько меня ошеломила, что мне показалось, будто голос Лазаря доносится откуда-то издалека, приглушенный расстоянием.

Китаец говорил или декламировал:

Je suis un grand partisan de l'ordre,
Mais je n'aime pas celui-ci.
Il peint un éternel désordre,
Et, quand il vous consigne ici,
Dieu jamais n'en révoque l'ordre.

– Отлично! – воскликнул Диккенс.

Я же, потрясенный и возмущенный поведением Неподражаемого, поставившего на карту мою жизнь вместе со своей столь беспардонным образом, не понял ни единого французского слова.

– А как и где мы найдем эти беспорядок и порядок? – продолжал мой друг.

– Понимание, что даже в видимом беспорядке кроется совершенный порядок, как в Уэллсе, приведет к апсиде, алтарю и лестнице за грязной перегородкой, – сказал Король Лазарь.

– Да-да. – Диккенс понимающе кивнул и даже выразительно глянул на меня, словно призывая запоминать все хорошенько.

Лазарь снова принялся декламировать:

Все, чем бахвалятся пред миром греки,
Подземные описывая реки
Стикс, Ахерон, Коцит и Флегетон,
Здесь явлено в одной реке. Но стон,
И крик, и смрад сильнее здесь стократ.
На веслах нашего челна сидят
Два провожатых пострашней Харона.
Здесь каркают зады, а не вороны,
И вместо Цербера вдоль берегов
Повсюду бродят своры диких псов.
Слышны вокруг не призраков стенанья,

А вопли, брань, проклятья, причитанья
Заблудших душ, грехом отягощенных,
На адовые муки обреченных.

Я попытался поймать взгляд Диккенса, дабы своим пристальным выразительным взглядом дать понять, что нам пора уйти прочь, давно уже пора, что наш опиумный король безумен, как безумны были мы сами, когда решили спуститься сюда, – но Неподражаемый, пропади он пропадом, опять кивал с самым понимающим видом и говорил:

– Отлично, просто превосходно. Нужно ли нам знать еще что-нибудь для того, чтобы разыскать Друда?

– Только одно: вы непременно должны заплатить провожатым, – прошептал Король Лазарь.

– Разумеется, разумеется, – сказал Диккенс, явно чрезвычайно довольный собой и китайцем. – Ну, мы пойдем, пожалуй. Ах да... полагаю, коридор, которым мы только сейчас прошли, и ваш при... гм... ваше заведение являются – если говорить применительно к Уэллсу – частью порядка, имеющего видимость беспорядка?

Лазарь широко улыбнулся. Я увидел, как блеснули очень мелкие и очень острые зубы, словно заточенные напильником.

– Конечно, – мягко промолвил он. – Считайте первый южным приделом нефа, а второе внутренним двориком.

– Огромное вам спасибо, – с чувством поблагодарил Диккенс. – Пойдемте, Уилки, – бросил он мне, направляясь к выходу из опиумного притона для мумий.

– И еще одно, – сказал Король Лазарь, когда мы уже выходили в общий зал, полный мумифицированных клиентов.

Диккенс обернулся и оперся на трость.

– Остерегайтесь мальчишек, – предупредил китаец. – Среди них попадаются каннибалы.

* * *

Мы вернулись в наружную галерею и зашагали по ней в сторону, откуда пришли.

– Мы уходим? – с надеждой спросил я.

– Уходим? Нет конечно. Вы же слышали, что сказал Король Лазарь. Мы находимся неподалеку от входа непосредственно в Подземный город. Если нам хоть немного повезет, мы встретимся с Друдом и вернемся, чтобы сводить сыщика Хэчери куда-нибудь позавтракать еще прежде, чем солнце взойдет над Погостом Святого Страшателя.

– Я слышал, как этот непотребный китаец сказал, что наши тела – и тело Хэчери – будут найдены в Темзе, коли мы продолжим наши безумные поиски, – проговорил я.

Голос мой отразился эхом от каменных стен. Эхо прозвучало несколько испуганно.

Диккенс тихо рассмеялся. Кажется, в тот момент я начал ненавидеть его.

– Глупости, Уилки, глупости. Вы прекрасно понимаете, что он имел в виду. Если с нами что-нибудь случится здесь – а ведь мы с вами все-таки пользуемся известным общественным вниманием, дорогой Уилки, – маленькое святилище здешних обитателей неизбежно привлечет к себе внимание, которое станет для них губительным.

– Поэтому они нас прикончат и бросят тела в Темзу, – пробормотал я. – А что там Лазарь болтал на французском?

– Разве вы не поняли? – удивился Диккенс. – Мне казалось, вы немного говорите по-французски.

– Я слушал невнимательно, – угрюмо буркнул я.

И с трудом поборол искушение добавить: «К тому же я последние пять лет не переправлялся то и дело через пролив, чтобы тайно проводить время с некой актриской в деревушке Кондетт, а потому имел меньше возможностей практиковаться во французском».

– Это был короткий стишок, – сказал Диккенс.

Он остановился во мраке, прочистил горло и продекламировал:

Я ревностный приверженец порядка,
Но мне не по душе порядок здесь:
Он видимость имеет беспорядка.
Однако Бог, нас поселивший здесь,
Век не отменит своего порядка.

Я посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, на замурованные входы в древние кубикuly. Дурацкий стишок не имел никакого – или почти никакого – смысла.

– Эти строчки вкупе с упоминанием об Уэллсе все проясняют, – продолжал Диккенс.

– Об Уэльсе? – тупо переспросил я.

– Об Уэллсе – об Уэллсовском соборе, вне всяких сомнений, – сказал Диккенс, поднимая фонарь и вновь двигаясь вперед. – Вы там бывали, полагаю.

– Да, но...

– Этот ярус катакомб, судя по всему, сооружен по плану некоего крупного собора – а именно Уэллсовского. То, что производит впечатление случайного и произвольного, на самом деле продумано и подчинено общему замыслу. Неф, зал капитула, северный и южный трансепты, алтарь и апсида. Опиумный притон Короля Лазаря, например, как он любезно нам пояснил, располагается на месте, где в Уэллсовском соборе находится внутренний дворик. Кладбищенский склеп, через который мы проникли сюда, соответствует западной башне Уэллсовского собора. Минуту назад мы вернулись в южный придел нефа, а сейчас повернули в сторону восточного трансепта. Видите, насколько этот коридор шире того, что ведет к «внутреннему дворику»?

Я кивнул, но Диккенс не оглянулся, и мой кивок остался незамеченным.

– Он упомянул что-то об алтаре и грязной ширме, – сказал я.

– А, да. Видимо, вы не расслышали и недопоняли: он говорил не о ширме, а о перегородке – и не грязной, а крестной, дорогой Уилки. Как вам наверняка известно – а мне известно тем более, поскольку я вырос в буквальном смысле слова в тени Роучестерского собора, о котором надеюсь написать однажды, – апсидой называется полукруглая сводчатая ниша в алтарной части храма. С одной стороны высокого алтаря находится алтарная перегородка, призванная скрывать от взоров мирян священнодействия служителей культа. Напротив нее, со стороны трансепта, находится так называемая крестная перегородка.

– Я знаю, – сухо промолвил я. – А что он там нес про Стикс, Ахерон, провожатых пострашней Харона и каркающие зады?

– Как, вы не вспомнили, откуда эти строки?! – вскричал Диккенс. От удивления он остановился как вкопанный и направил на меня фонарь. – Это же наш любимый Бен Джонсон и его «Памятная прогулка», написанная году в тысяча шестьсот десятом от Рождества Христова, если не ошибаюсь.

– Вы редко ошибаетесь, – пробормотал я.

– Благодарю вас, – сказал Диккенс, не заметив моей иронии.

– Но какое отношение к мистеру Друду имеет стихотворение о Коците, Флегетоне, стене, крике, смраде, Хароне и Цербере?

– Оно говорит о том, что нам с вами придется совершить путешествие по реке, друг мой.

В свете фонаря я видел, что дальше галерея, или «неф», сужается и впереди чернеют несколько проемов в стенах. Что там? Трансепт и апсида? Алтарная и крестная перегородки? Очередные полки с азиатскими мумиями, курящими опиум? Или просто смрадные склепы, полные костей?

– Путешествие по реке? – тупо переспросил я.

Мне безумно хотелось принять свой лауданум. И безумно хотелось очутиться дома, чтобы получить такую возможность.

* * *

«Апсидой» оказалось круглое помещение с каменным куполообразным потолком высотой футов пятнадцать. Мы вошли в него сбоку – как бы из хорового обхода, если расположение подземных коридоров здесь и впрямь соотносилось с планом какого-то собора. «Алтарь» представлял собой массивный каменный постамент, очень похожий на тот, что сдвинул Хэчери в склепе высоко над нами.

– Если теперь требуется передвинуть эту штуковину, – сказал я, указывая на постамент, – значит наше путешествие здесь и закончится.

Диккенс кивнул и коротко бросил:

– Не требуется.

Полуистлевший занавес слева (он напоминал гобелен, но за несколько веков все узоры на нем потемнели в подземном мраке, стали черно-бурыми) частично отгораживал «алтарь» от пространства «апсиды» под каменным куполом. Другой занавес, попроще и еще сильнее изъеденный тленом, висел на каменной стене примитивного пресвитерия справа от нас.

– Крестная перегородка, – сказал Диккенс, указывая тростью на второй занавес.

Концом трости он отодвинул в сторону истлевшую ткань, и мы увидели узкий проем в стене. Ведущая вниз деревянная лестница была значительно круче и уже двух предыдущих. Стены и потолок почти вертикального туннеля, пробитого в земле и камне, подпирали нетесаные бревна.

– Как по-вашему, эта шахта более древняя, чем сами катакомбы? – шепотом спросил я, спускаясь следом за Диккенсом по крутой лестнице. – Относится к раннехристианской эпохе? Или к древнеримской? Или к друидической?

– Вряд ли. Думаю, она проложена совсем недавно, Уилки. Не более пяти лет назад. Обратите внимание: ступени, похоже, сделаны из железнодорожных шпал. На них еще остались следы смолы. И шахту, скорее всего, рыли снизу вверх.

– Снизу вверх? – повторил я. – Откуда это – снизу?

В следующую секунду на меня накатила почти физически ощутимая волна смрада, давшая ответ на мой вопрос. Я полез в карман за платком, но тотчас же снова вспомнил, что Диккенс забрал его у меня и использовал не по назначению несколько долгих часов назад.

Через пару минут мы оказались непосредственно в канализационном коллекторе. Он представлял собой сводчатый кирпичный туннель шириной всего семь-восемь футов и высотой менее шести футов, по дну которого не текла, а медленно ползла густая жижа. От нестерпимой вони у меня сильно заслезились глаза, и мне пришлось вытереть их рукавом, чтобы разглядеть, что там выхватывает из мрака бледный луч света, исходящий из фонаря в руке Диккенса.

Я увидел, что Диккенс прикрывает нос и рот шелковым платком. Так у него с собой было два платка! Вместо того чтобы накрыть трупки младенцев двумя своими, он реквизировал у меня мой, хотя наверняка прекрасно знал, что впоследствии платок мне понадобится. Негодование мое возросло.

– Все, дальше я не ступлю ни шагу, – решительно заявил я.

В больших глазах Диккенса отражалось недоумение, когда он повернулся ко мне.

– Но почему, скажите на милость, Уилки? Мы уже зашли так далеко!

– Я не намерен месить сапогами *это*. – Я раздраженно указал на зловонную вязкую жижу, ползущую по каналу.

– О, нам и не придется, – сказал Диккенс. – Видите кирпичные дорожки по обеим сторонам туннеля? Они на несколько дюймов выше уровня этой грязюки.

«Грязюкой» мы, писатели, называем сильно правленные рукописи и гранки, которые издатели возвращают нам на доработку. Я задался вопросом, не отпустил ли сейчас Диккенс дешевую остроту.

Но по обеим сторонам узкого канализационного туннеля действительно тянулись «дорожки». Впрочем, они едва ли заслуживали столь громкого названия: «дорожка» с нашей стороны имела не более десяти дюймов в ширину.

Я потряс головой, полный сомнений.

По-прежнему крепко прижимая платок к лицу, Диккенс достал из кармана складной нож и нацарапал три параллельные черты на кирпичной стене рядом с местом, где грубо сколоченная лестница выходила в сточный туннель.

– Зачем это? – спросил я, но тотчас же сам сообразил. Видимо, зловонные испарения пагубно влияли на мои логические способности.

– Чтобы найти дорогу обратно, – ответил Диккенс. Сложив нож, он поднес его к свету и сказал ни с того ни с сего: – Подарок американских друзей, принимавших меня в Массачусетсе в ходе моей поездки по Штатам. Очень полезная вещь, как я не раз имел случай убедиться. Ну ладно, пойдемте, час уже поздний.

– А почему вы пошли направо, а не налево? – поинтересовался я, семена вслед за ним по узкому кирпичному выступу и пригибая голову, чтобы цилиндр не зацепился за низкий свод туннеля и не упал в нечистоты.

– Да так, по наитию, – сказал Диккенс.

Через несколько минут мы подошли к месту, где туннель разветвлялся на три разноразмерных рукава. По счастью, сточный канал здесь сужался, и Диккенс перепрыгнул через него, опираясь на трость. Он нацарапал три черты у входа в средний туннель и посторонился, освобождая место для меня.

– Почему именно этот туннель? – спросил я, когда мы углубились в него на двадцать-тридцать ярдов.

– Он самый широкий, – ответил Диккенс.

Мы подошли к следующему тройному разветвлению. На сей раз он выбрал правый туннель и снова нацарапал три черты на кирпичной кладке.

Пройдя сотню ярдов по этому более узкому туннелю, Диккенс остановился. Я увидел у противоположной стены (дорожки там не было) свечной металлический отражатель, закрепленный на лопасти заступа, погруженного черенком в вязкую жижу, а ниже подобие проволочного решета, прислоненное к стене. В отражателе еще оставался крохотный, буквально в четверть дюйма, огарок сальной свечи.

– Это еще что такое? – прошептал я. – Зачем это здесь?

– Имуущество какого-то подземного старателя, – обыденным тоном промолвил Диккенс. – Разве вы не читали Мэйхью?

Я не читал. Недоуменно уставившись на залепленное по краям грязью решето, я спросил:

– Но ради всего святого, что можно найти тут в нечистотах?

– Да самые разные вещи, которые мы рано или поздно теряем на улицах близ сточных канав и люков, – сказал Диккенс. – Кольца, монеты. Даже кости могут представлять определенную ценность для неимущих. – Он указал тростью на лопату и решето. – Именно

такие инструменты Ричард Берд изобразил в одной из своих иллюстраций к книге Мэйхью «Лондонские рабочие и лондонские бедняки». Вам обязательно нужно прочитать ее, дорогой Уилки.

– Сразу, как только выберемся отсюда, – прошептал я, исполненный решимости выполнить свое обещание.

Мы двинулись дальше. Местами, где сводчатый потолок становился ниже, нам приходилось двигаться чуть ли не на корточках. В какой-то момент меня охватила паника при мысли, что в нашем маленьком фонаре выгорит все масло, но потом я вспомнил про увесистый огарок свечи, лежащий в моем левом кармане.

– Как по-вашему, это часть новой канализационной системы Базалгетти? – немного погодя спросил я.

К тому времени с действительностью меня примиряло лишь одно обстоятельство: от невыносимого зловония у меня почти начисто отшибло нюх. Я осознал, что рано или поздно мне придется пустить свою одежду на осветительные жгуты, и страшно расстроился, поскольку я особо дорожил сюртуком и жилетом, надетыми на мне тогда.

Кажется, я уже упоминал прежде, что в свое время Джозеф Базалгетти, главный инженер Управления общественных работ, выдвинул на рассмотрение в парламенте проект новой общегородской канализационной системы, который предполагал строительство очистных станций, препятствующих сбросу нечистот в Темзу, и сооружение каменных набережных. Скорейшему принятию проекта поспособствовало Великое Зловоние, случившееся в июне 1858 года и выгнавшее прочь из города всю палату общин. Главная очистная станция в Кроснесе открылась год назад, но на городских улицах и под ними все еще прокладывались десятки миль основной и вспомогательных канализационных сетей. Работы по строительству набережных планировалось начать через пять лет.

– Новой? – переспросил Диккенс. – Сильно сомневаюсь. Под городом тянутся сотни сточных туннелей, проложенных много веков назад, Уилки... иные относятся аж к древнеримской эпохе... О многих из них Управление общественных работ просто забыло.

– Но помнят подземные старатели, – заметил я.

– Совершенно верно.

Внезапно туннель резко расширился, образуя довольно просторное и сравнительно сухое помещение. Диккенс остановился и посветил фонарем по сторонам. Стены здесь были каменные, сводчатый кирпичный потолок подпирали многочисленные столбы. По более-менее сухим краям этой чашеобразной камеры лежали всевозможные спальные подстилки, как сплетенные из грубой веревки, так и сотканые из дорогой шерсти. С почерневшего от копоти потолка свисали на цепях тяжелые лампы. На приподнятой площадке, своего рода островке, в центре помещения стояла железная печка с дымовой трубой, отведенной не вверх, сквозь каменный потолок, а вниз, в один из четырех расходящихся лучами туннелей. Несколько толстых досок, положенных на установленные на попа ящики, служили обеденным столом, а в самих ящиках я разглядел стопки грязных тарелок и прочую посуду. В ящиках поменьше, видимо, хранились продукты.

– Просто не верится, – выдохнул Диккенс, поворачиваясь ко мне. Глаза у него возбужденно блестели, лицо расплывалось в широкой улыбке. – Знаете, что приходит на ум при виде всего этого, Уилки?

– Маленькие дикари! – воскликнул я. – Да неужто вы читаете выпуски этого романа, Диккенс?!

– Ну конечно, – рассмеялся самый известный писатель современности. – Их читают все мои знакомые ценители и знатоки литературы, Уилки! Но никто из нас не признается в этом, боясь осуждения и насмешек.

Речь шла о низкопробном авантюрном романе под названием «Маленькие лондонские дикари, или Дети ночи. Повесть наших дней». В настоящее время он ходил по рукам в виде корректурных оттисков, но в ближайшем будущем должен был выйти в свет на потребу читающей публике, если власти не запретят публикацию под предлогом непристойного характера сочинения.

Честно говоря, я лично не видел ничего особо непристойного в написанной напыщенным слогом истории о беспризорных детях, которые живут, точно несчастные дикие звери, в канализационных туннелях под городом, хотя я по сей день помню одну особо жуткую и не вполне приличную иллюстрацию с изображением нескольких мальчишек, нашедших в сточном канале тело почти голой женщины. В другом эпизоде романа – по счастью, не проиллюстрированном – один паренек, новенький среди «дикарей», случайно наталкивается на обгрызенный крысами мужской труп. В конечном счете, возможно, роман действительно был непристойным.

Но кто бы мог подумать, что дешевая страшилка, написанная посредственным языком, основана на реальных фактах?

Диккенс рассмеялся – эхо раскатилось по всем туннелям – и сказал:

– Это место мало чем отличается от моего любимого клуба, Уилки.

– Если не считать того, что иные из обедающих здесь являются каннибалами, как предупредил нас Король Лазарь, – заметил я.

Словно в ответ на наши остроты из одного из туннелей раздались крысиный писк и цапапанье. Возможно, из всех сразу.

– Так может, мы теперь пойдем назад? – спросил я, возможно, слегка умоляющим тоном. – Теперь, когда мы проникли в самое сердце тайны Подземного города?

Диккенс бросил на меня пронзительный взгляд:

– О, я сильно сомневаюсь, что это и есть самое сердце тайны. Или хотя бы печень или легкие оной. Пойдемте, вот этот туннель вроде бы пошире прочих.

Через пятнадцать минут и пять поворотов тесной кирпичной кишки мы вышли в просторную камеру, рядом с которой обиталище «маленьких лондонских дикарей» казалось крохотной кубиколой.

Этот поперечный туннель выделялся среди остальных, как большак среди проселков: он имел по меньшей мере двадцать пять футов в ширину и пятнадцать в высоту, а посередине протекал быстрый поток воды (пусть даже жалкого подобия воды, чудовищно грязного и мутного), а не ползла густая жижа. Стены, пролегающие вдоль них дорожки и высокий сводчатый потолок были сложены из новехонького кирпича.

– Вот это, должно быть, часть новой канализационной системы Базалгетти. – В голосе Диккенса впервые за все время послышались благоговейные нотки. Заметно потускневший луч фонаря плясал по стенам и потолку широкого туннеля. – Но вероятно, официальное открытие еще не состоялось.

Я мог лишь потрясти головой, одновременно устало и изумленно.

– Куда теперь, Диккенс?

– Дальше пути нет, кажется, – тихо промолвил он. – Разве только мы пустимся вплавь.

Я растерянно моргнул и тотчас понял, о чем он. Кирпичная дорожка здесь – чистая и ровная, как новый городской тротуар, – имела по меньшей мере пять футов в ширину, но она тянулась лишь на пятнадцать футов от входа в одну и другую сторону.

– Значит, возвращаемся той же дорогой? – спросил я.

При одной мысли об обратном путешествии по узким кирпичным кишкам у меня мороз подрал по коже.

Диккенс посветил фонарем на деревянный столб, стоящий ярдах в двух слева от нас. На нем висел маленький корабельный колокол.

– Думаю, нет, – негромко произнес он.

Прежде чем я успел запротестовать, он четыре раза ударил в колокол. Резкий звон раскатился эхом по широкому туннелю над быстрым потоком.

В самом конце странного кирпичного причала Диккенс нашел брошенный шест и погрузил его вертикально в воду.

– Глубина семь футов самое малое, – сообщил он. – Возможно, больше. А вы знаете, Уилки, что французы собираются устраивать лодочные экскурсии по своим подземным сточным каналам? Женщины сидят в лодках, мужчины часть пути проходят пешком. Плоскодонки приводятся в движение педальным механизмом вроде велосипеда, а установленные на них прожекторы и фонари, выданные экскурсантам, освещают все подземные достопримечательности.

– Нет, – угрюмо буркнул я. – Я этого не знал.

– В парижском высшем свете поговаривают об организации охоты на крыс для желающих.

Я был сыт по горло всем этим. Резко повернувшись кругом, я сказал:

– Все, пойдемте отсюда, Диккенс. Скоро рассвет. Если сыщик Хэчери отправится на Леман-стрит и заявит о нашем исчезновении, добрая половина лондонских констеблей спустится сюда на поиски самого знаменитого писателя современности. Королю Лазарю и его друзьям это не понравится.

Прежде чем Диккенс успел ответить, в глубине туннеля внезапно послышался шум, а в следующий миг из темноты прямо на нас вылетели несколько существ с мертвенно-бледными крысиными личиками и в развевающихся лохмотьях.

Я неловко выхватил револьвер из кармана. В первый момент я решил, что нас атакуют гигантские крысы.

Диккенс стремительно выступил вперед, встав между мной и верткими существами, которые наступали на нас, совершая различные обманные движения.

– Это мальчишки, Уилки! – выкрикнул он. – Просто мальчишки!

– Мальчишки-каннибалы! – проорал я, вскидывая револьвер.

Словно в подтверждение моих слов, один из них – длинноносый, с крохотными глазками и мелкими острыми зубами – прыгнул на Диккенса и щелкнул челюстями, словно намереваясь откусить ему нос.

Неподражаемый наотмашь ударил нападавшего по лицу тростью и попытался схватить его, но в руке у него остались лишь грязные лохмотья, а голый ребенок и двое или трое других мальчишек пустились наутек по темному узкому туннелю, откуда появились следом за нами.

– Боже мой! – выдохнул я, все еще держа тяжелый револьвер обеими руками. Я услышал непонятный приглушенный звук, донесшийся сзади, со стороны воды, и медленно повернулся, по-прежнему не опуская револьвера. – Боже мой! – снова прошептал я.

К нашей кирпичной эспланаде подплыла длинная узкая лодка необычного вида. На носу стоял высокий парень с шестом, другой сидел у руля на корме – но, если не считать высоких кормы и носа с висящими на них фонарями, суденышко лишь отдаленно напоминало итальянскую гондолу.

Парни выглядели уже не мальчиками, но еще не мужчинами – черты землисто-бледных лиц пока не обрели зрелой завершенности. Страшно худые, они были одеты в одинаковые темно-синие лохмотья, похожие чуть ли не на униформу; грудь в распахнутом вороте драной рубахи и полоска голого тела над равно драными штанами у обоих имели такой же нездоровый мучной цвет, как лицо. Что самое странное, оба полумальчика-полумужчины были в квадратных дымчатых очках, словно находились не в сумрачном туннеле, а под ярким солнцем, резавшим чувствительные глаза.

– Полагаю, прибыли наши провожатые, Уилки, – прошептал Диккенс.

Опасливо оглянувшись на черный проем, откуда в любой момент снова могли выскочить маленькие дикари, я придвинулся поближе к Диккенсу и приготовился ступить в маленькую лодку. Неподражаемый вручил безмолвному гребцу два соверена, потом заплатил столько же рулевому. Оба парня отрицательно потрясли головой, и каждый отдал обратно один из двух соверенов. Они указали на Диккенса и кивнули. Потом указали на меня и помотали головой. Меня явно не приглашали на борт.

– Мой друг должен сопровождать меня, – сказал Диккенс безмолвной паре. – Я не оставляю его здесь. – Порывшись в кармане, он достал еще несколько монет.

Две смутные фигуры почти одновременно помотали головой.

– Вы от мистера Друда? – спросил писатель.

Он повторил вопрос по-французски. Странная пара продолжала хранить молчание. Наконец рулевой снова ткнул пальцем в Диккенса и жестом пригласил его в лодку. Гребец указал на меня, а потом на кирпичную дорожку под моими ногами, явно веля мне оставаться на месте. У меня возникло ощущение, будто они командуют мне, как собаке.

– К черту все это! – громко сказал я. – Пойдемте отсюда, Диккенс. Ну же!

Писатель посмотрел на меня, потом на туннель за моей спиной – откуда снова доносился приглушенный частый топоток, – потом опять посмотрел на лодку, а затем вытянул шею и глянул вверх и вниз по течению подземной реки.

– Уилки... – наконец проговорил он. – Мы уже зашли так далеко... и так много узнали, что я... просто не могу повернуть назад.

Я ошеломленно уставился на него.

– Вернемся в другой раз, – сказал я. – А сейчас надо убираться прочь.

Он отрицательно потряс головой и отдал мне «бычий глаз».

– У вас есть револьвер и... сколько, говорил Хэчери, там пуль?

– Девять.

Негодование, недоумение и обида поднимались во мне, как поднимается к горлу тошнота во время сильной качки в море. Так он действительно собирался бросить меня здесь!

– Девять пуль, фонарь и указатели пути в виде нацарапанных на стенах трех черточек, – торопливо проговорил Диккенс.

Я обратил внимание на характерное пришепетывание и подумал, что, возможно, оно усиливается, когда Неподражаемый совершает предательские поступки.

– А если там больше девяти мальчишек-каннибалов? – тихо спросил я. И сам удивился спокойствию своего голоса, пусть и звучавшего слегка искаженно под гулками сводами широкого туннеля. – Или полчища крыс, которые явятся поужинать, когда вы уплывете?

– Напавший на меня мальчишка никакой не каннибал, – сказал Диккенс. – Просто безпризорный ребенок в лохмотьях столь ветхих, что они на нем едва держались. Но на худой конец, Уилки... пристрелите одного из них. Остальные дадут деру.

Тогда я рассмеялся. У меня действительно не было выбора.

Диккенс ступил в маленькую лодку, попросил гребца подождать секундочку и посмотрел на хронометр при свете кормового фонаря.

– У нас еще осталось добрых полтора часа, чтобы успеть вернуться к Хэчери до восхода солнца, – сказал он. – Подождите меня здесь, на причале, Уилки. Зажгите свечу вдобавок к «бычьему глазу», чтобы стало посветлее, и подождите меня. Я потребую, чтобы наш с мистером Друдом разговор продолжался не более часа. Мы поднимемся наверх вместе.

Я открыл рот, собираясь заговорить или рассмеяться, но из горла моего не вырвалось ни звука. Я вдруг осознал, что по-прежнему держу перед собой дурацкий тяжелый револьвер... и что он направлен в сторону Диккенса и двух его провожатых. Мне не требовалось

картечного заряда в нижнем стволе, чтобы все трое упали, бездыханные, в мутный поток лондонских сточных вод. Мне стоило лишь трижды нажать на спусковой крючок. Тогда у меня осталось бы еще шесть пуль на маленьких дикарей.

Словно прочитав мои мысли, Диккенс сказал:

– Я бы взял вас с собой, Уилки, когда бы мог. Но представляется очевидным, что мистер Друд желает поговорить со мной наедине. Если вы дождетесь меня – а я вернусь самое большее через полтора часа, уверяю вас, – мы с вами поднимемся наверх вместе.

Я опустил револьвер.

– Но если я уйду отсюда до вашего возвращения... коли вы вообще вернетесь, – хрипло проговорил я, – вам будет очень сложно найти обратную дорогу без фонаря.

Диккенс ничего не ответил.

Я зажег свечу и сел между ней и «бычьим глазом», лицом ко входу в туннель, спиной к Чарльзу Диккенсу. Я положил взведенный револьвер на колени. И не обернулся, когда плоскодонная лодка плавно отошла от крохотного причала. Она скользила по воде так бесшумно, что я не расслышал ни единого постороннего плеска в гулком шуме подземной реки. И я по сей день не знаю, вверх или вниз по течению уплыл тогда Диккенс.

Глава 7

До самого конца лета 1865 года стояла страшная жара. В начале сентября необычный зной, сопровождавшийся частыми грозами, пошел на убыль и в Лондоне установилась ясная погода с теплыми днями и прохладными ночами.

В течение двух месяцев после нашего ночного похода я редко виделся с Диккенсом. Летом и во время других школьных каникул его дети выпускали собственную маленькую газету, «Гэдсхилл гэзет», и в августе мой брат Чарльз принес мне пачку таких газеток. Там были статьи о пикниках, поездках в Рочестер, крикетных матчах и заметка о первом письме сына Диккенса, Альфреда, в мае уехавшего в Австралию, чтобы заняться овцеводством. Все сообщения о Неподражаемом (если не считать традиционных упоминаний, что пикники, поездки в Рочестер, крикетные матчи проходили под его председательством) сводились к тому, что он напряженно работает над «Нашим общим другом».

От Перси Фицджеральда я узнал, что Диккенс с детьми и довольно многочисленной группой друзей ездил в поместье Бульвер-Литтона, Нейворт, чтобы отпраздновать открытие первых домов, построенных на средства «Гильдии литературы и искусства» для нуждающихся художников и писателей. Диккенс верховодил всем собранием и, по словам Фицджеральда, «казался веселым и жизнерадостным, как прежде». Неподражаемый произнес пылкую оптимистичную речь, в частном разговоре сравнил своего излишне напыщенного друга Джона Форстера с Мальволио⁶ (в присутствии нескольких писателей, которые непременно донесут Форстеру о нелicenseприятном сравнении), затащил большую компанию приятелей в расположенную поблизости таверну под названием «Наш общий друг» и даже принял участие в танцах на открытом воздухе, прежде чем вернуться со всеми своими спутниками в Лондон.

Я приглашения в Нейворт не получил.

От своего брата Чарльза я узнал, что Диккенс по-прежнему страдает от последствий Стейплхерстской катастрофы – в частности, предпочитает по возможности ездить на медленном поезде, так как путешествия на курьерском, а порой даже поездки в обычной карете вызывают у него приступы страха. Еще Чарльз сообщил мне, что в начале сентября Диккенс закончил работу над «Нашим общим другом» и добавил к нему эпилог (хотя никогда прежде не писал эпилогов), где защищает довольно необычный метод повествования, использованный в романе, кратко описывает Стейплхерстскую катастрофу (умалчивая, разумеется, о мисс и миссис Тернан и мистере Друде) и в заключение пишет фразу, вызывающую легкое беспокойство: «Чувство благоговейной благодарности не покидает меня при воспоминании, что я никогда не был так близок к вечной разлуке со своими читателями и к тому дню, когда моя жизнь должна будет завершиться тем словом, которым сейчас я завершаю эту книгу: Конец».

Поскольку вы, дорогой читатель, живете в нашем посмертном будущем, вероятно, я не открою вам большой тайны, если скажу, что Диккенсу уже не довелось написать это слово – «Конец» – в завершение следующего своего романа.

Одним погожим днем в первых числах сентября Кэролайн поднялась в мой кабинет, где я тогда работал, и вручила мне визитную карточку некоего господина, ждавшего внизу. На карточке значилось:

*Инспектор Чарльз Фредерик Филд
Частное сыскное бюро*

⁶ Персонаж комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно».

Видимо, Кэролайн заметила недоумение, отразившееся на моем лице, ибо спросила:
– Что-нибудь не так? Отослать его прочь?

– Нет-нет... Проводи его ко мне. Только затвори дверь поплотнее, когда он пройдет в кабинет, дорогая моя.

Через минуту инспектор Филд уже находился в кабинете, с легким поклоном тряс мою руку и тараторил, не давая мне открыть рот. Я вспомнил описание из давнего диккенсовского эссе о нем, напечатанного в «Домашнем чтении»: «...мужчина средних лет, осанистый, с большими, влажными, проницательными глазами и сиплым голосом; у него манера в подкрепление своих слов выставлять толстенный указательный палец, держа его все время на уровне глаз или носа».

Сейчас Филд был уже далеко не средних лет, а лет шестидесяти, сообразил я, и от кудрявой темной гривы у него остался лишь скудный венчик седых волос, но сиплый голос, проницательные глаза и толстенный указательный палец никуда не делись и находились в полной исправности.

– Мистер Коллинз, мистер Коллинз, как я рад снова видеть вас, сэр. Причем видеть в столь явном и отрадном благополучии, сэр. Ах, какая чудесная комната, сэр! Как много книг! Полагаю, вон там, рядом со слоновьим бивнем, стоит экземпляр вашей «Женщины в белом» – да, так и есть! Говорят, замечательная книга – правда, сам я покамест не удосужился прочитать ее, но моя жена прочитала. Возможно, вы меня помните, сэр...

– Да, конечно. Вы сопровождали нас с Чарльзом Диккенсом...

– В одном из ваших походов по самым сомнительным кварталам нашего прекрасного города. Да, мистер Коллинз, сопровождал, действительно сопровождал. Возможно, вы помните также, что я присутствовал при первой вашей встрече с мистером Диккенсом...

– Признаться, я не уверен, что...

– Нет-нет, сэр, вам нет никакой нужды помнить о моем присутствии там. Дело было в пятьдесят первом году, сэр. Мистер Диккенс нанял меня частным образом, так сказать, чтобы я обеспечил порядок во время представления пьесы лорда Литтона «Не так плохи, как кажемся», поставленной при милостивом содействии герцога Девонширского. Вы тогда были начинающим актером, сэр, и мистер Диккенс по совету мистера Эгга пригласил вас на роль Смарта. Помнится, мистер Диккенс сказал вам на первой репетиции: «Роль маленькая, но она, бесспорно, хороша!» И вы тоже, мистер Коллинз, вы тоже были, бесспорно, хороши. Я видел несколько представлений, сэр.

– Благодарю вас, инспектор. Я...

– Да... О, вы позволите мне присесть? Премного благодарен. Ах, какое прекрасное каменное яйцо у вас на столе, мистер Коллинз. Это оникс? Да, полагаю, он самый. Прелесть, просто прелесть.

– Спасибо, инспектор. Чему я обязан?..

– Вы наверняка помните, мистер Коллинз, что герцог Девонширский предоставил свой лондонский дом, Девоншир-хаус, для первого представления пьесы лорда Литтона. Насколько я помню, все сборы от спектакля пошли в фонд «Гильдии литературы и искусства». В то время президентом гильдии был сэр Эдвард. Мистер Диккенс занимал пост вице-президента. Возможно, вы помните, что меня и нескольких моих тщательно отобранных коллег наняли, чтобы мы, одетые в цивильное платье, присутствовали в зрительном зале, потому как раздельно проживавшая жена лорда Литтона – по имени Розина, кажется, – грозила сорвать спектакль. Она обещала, помнится, переодеться продавщицей апельсинов и закидать сцену фруктами. – Инспектор Филд хихикнул, и я натужно улыбнулся в ответ. – В другой записке, – продолжал мой гость, – она обещала забросать тухлыми яйцами королеву, которая, невзирая на угрозы, все же явилась на премьеру, как вы наверняка помните, сэр, ибо у всех писателей замечательная память. Ее величество королева пришла в обществе принца

Альберта и стала свидетелем первого вашего публичного выступления совместно с мистером Диккенсом. Дело было шестнадцатого мая пятьдесят первого года – а кажется, будто только на прошлой неделе, не правда ли, сэр? – и тем вечером на представлении присутствовали ваши особые гости, мистер Коллинз. Ваш брат Чарльз, кажется, и ваша матушка... леди Хэрриет, если мне не изменяет память. Надеюсь, она пребывает в добром здравии, мистер Коллинз, искренне надеюсь, и помнится мне, когда ваша матушка наведывается в город, она проживает с вашим братом Чарльзом и его женой Кейт, старшей дочерью Диккенса. На Кларенс-террас, если я верно помню адрес. Премилый район. И ваша матушка – очаровательная дама, поистине очаровательная. О, и помнится мне, на том первом представлении присутствовали еще и другие ваши гости. Эдвард и Генриетта Уорд. Сигару? Да, сэр, с превеликим удовольствием.

Предложенная сигара превосходного качества послужила к приостановке словесного потока моего гостя, мы в молчании обрезаем и зажгли наши сигары и с минуту наслаждались курением, не произнося ни слова. Потом, пока сыщик не спохватился и не возобновил словоизвержение, я сказал:

– Ваша память делает честь вашей профессии и вам самому, инспектор Филд. Но позвольте поинтересоваться: чему я обязан удовольствием видеть вас?

Он вынул изо рта сигару левой рукой, а указательным пальцем правой сначала прижал одну ноздрю, будто нюхая табак, а потом легонько постучал по губам, словно побуждая оные к произнесению следующих слов:

– Мистер Коллинз, вам следует знать, что звание «инспектор» перед моей фамилией в настоящее время является просто почетным именованием, ибо я больше не служу в сыском отделе Скотленд-Ярда. Ушел в отставку через год после того, как обеспечивал порядок на представлении «Не так плохи, как кажемся», если быть точным на все сто.

– Уверен, это почетное именование вы в полной мере заслужили и оно должно и будет использоваться всеми, кто вас знает, – любезно отвечив, я, не посчитав нужным указать, что звание «инспектор» черным по белому значилось у него на визитной карточке.

– Благодарю вас, мистер Коллинз, – промолвил румяный сыщик, выпуская огромный клуб дыма.

Поскольку дверь была плотно затворена, а окно, по обыкновению, приоткрыто совсем чуть-чуть, чтобы уличный шум не мешал мне работать, мой маленький кабинет быстро наполнялся голубым дымом.

– Так чем же я могу быть полезен вам, инспектор? – спросил я. – Вы пишете мемуары? И в вашей необъятной, поистине невероятной памяти образовался крохотный пробел, который я в силах восполнить?

– Мемуары? – Инспектор Филд хихикнул. – А ведь это дельная мысль... но нет, сэр, нет, право слово. Другие люди, вроде вашего друга мистера Диккенса, уже написали о моих... надеюсь, слово «подвиги» не прозвучит слишком громко, сэр?... уже написали о моих подвигах и, смею предположить, еще не раз напишут в будущем. Но у меня самого в данный момент на повестке дня не стоит никаких мемуаров, сэр.

– В таком случае чем я могу служить вам, инспектор?

Крепко зажав в зубах сигару, Филд подался вперед, поставил локти на стол и дал волю своему толстому указательному пальцу, коим сначала значительно указал вверх, потом вниз, затем постучал по столу и наконец ткнул в меня.

– До моего сведения дошло, мистер Коллинз, – к сожалению, слишком поздно, – что вы с мистером Диккенсом ходили в Тайгер-Бэй и спускались в Подземный город в поисках некоего субъекта по имени Друд.

– Кто вам это сказал, инспектор? – осведомился я сухим тоном.

Отставной сыщик Скотленд-Ярда уже успел сильно раздражить меня своими любопытством и навязчивостью.

– О, Хиб Хэчери, разумеется. Он работает на меня – служит в моем частном сыском бюро. Разве мистер Диккенс не говорил вам?

Диккенс, припомнил я, действительно обмолвился, что инспектор Филд уволился из полиции, в настоящее время не имеет возможности сопровождать нас в нашей ночной вылазке и порекомендовал нам Хэчери, но тогда я не обратил особого внимания на это замечание.

– Нет, – холодно произнес я. – Сомневаюсь, что вы узнали о нашем походе от Хэчери.

Филд кивнул. Его правый указательный палец, словно наделенный собственной волей, взметнулся вверх и прижался сбоку к его крючковатому носу; левой же рукой инспектор вытащил изо рта сигару.

– Именно от него, сэр. Хэчери – славный малый. Пусть не одаренный богатым воображением, какое необходимо любому стоящему инспектору и сыщику, но поистине славный малый. Надежный. Однако, когда Диккенс обратился ко мне с просьбой подыскать сопровождающего для экскурсии в... э-э... не самый благополучный район нашего города, я решил, что речь идет всего лишь об очередной увеселительной прогулке по трущобным кварталам – вроде той, в которой я сопровождал вас с ним или его с американскими гостями, сэр. Я довольно долго отсутствовал в городе – уезжал по делам сыского бюро – и только по недавнем своем возвращении узнал, что объектом преследования мистера Диккенса являлся Друд.

– Ну, я бы не назвал это преследованием, – заметил я.

– Хорошо, пусть будут поиски, – сказал инспектор Филд, выпуская струю голубого дыма. – Расспросы. Расследование.

– А что, интересы Чарльза Диккенса каким-то образом касаются вас? – спросил я резким тоном, призванным поставить на место отставного полицейского, лезущего в дела джентльменов.

– О да, сэр. Да, мистер Коллинз, очень даже касаются, – сказал инспектор, откидываясь на спинку кресла с такой силой, что она затрещала. Он внимательно разглядывал все еще горящий окурок своей сигары, слегка хмуря брови. – Все, что имеет отношение к Друду, меня касается и интересует, мистер Коллинз. Абсолютно все.

– Почему, инспектор?

Он снова подался вперед.

– Друд – или монстр, называющий себя Друдом, – появился и начал творить свои зверства при мне. В буквальном смысле слова при мне. Тогда я только-только вступил в должность начальника сыского отдела Скотленд-Ярда, сменив на этом посту инспектора Шекелла. И именно тогда... в сорок шестом году, сэр... началась власть Друдова террора.

– Власть террора? – повторил я. – Сколько я помню, в газетах ни о каком таком терроре не сообщалось.

– О, в сомнительных городских кварталах, куда вы с мистером Диккенсом наведывались в июле, происходит много событий, не получающих освещения в прессе, мистер Коллинз. Можете в этом не сомневаться.

– Уверен, вы правы, инспектор, – мягко промолвил я.

Мы уже скурили сигары почти до конца. Когда они сгорят полностью, я сошлюсь на неотложные дела и выпровожу прочь отставного полицейского.

Филд снова подался вперед, наставив на меня деятельный указательный палец.

– Мне нужно знать, что вы с мистером Диккенсом узнали про Друда той ночью, мистер Коллинз. Мне нужно знать решительно все.

– Не понимаю, каким образом наши дела касаются вас, инспектор.

Филд улыбнулся – достаточно широко, чтобы морщины и складки на его немолодом лице сложились в совершенно новый рисунок. То была отнюдь не теплая улыбка.

– Касаются самым непосредственным образом, мистер Коллинз. Вам этого никогда не понять. И я получу интересные меня сведения во всех подробностях.

Я резко выпрямился в кресле, и прострелившая спину подагрическая боль усугубила мое недовольство и раздражение.

– Вы мне угрожаете, инспектор?

Улыбка моего собеседника стала шире.

– Инспектор Чарльз Фредерик Филд – из сыскного ли отдела полиции, из собственного ли частного сыскного бюро – никогда никому не угрожает, мистер Коллинз. Но он получит все сведения, необходимые для продолжения борьбы со старым и неумолимым врагом.

– Если этот... Друд... является вашим, как вы выражаетесь, врагом вот уже более двадцати лет, инспектор, вы едва ли нуждаетесь в нашей помощи. Вы должны знать о... своем враге... гораздо больше нас с Диккенсом.

– О да, сэр, – согласился Филд. – Скажу без ложной скромности: о субъекте, которого вы называете Друдом, я знаю больше, чем кто-либо из ныне живущих. Но Хэчери сообщил мне, что мистер Диккенс встречался с ним недавно. И не в Подземном городе, а на месте Стейплхерстской железнодорожной катастрофы. Мне необходимо знать больше о той встрече и о том, что вы двое видели в Подземном городе в июле.

– Я думал, по условиям договоренности – во всяком случае, сыщик Хэчери употребил именно такое слово – полицейские и частные сыщики должны оставить в покое жителей Подземного города, покуда они не мешают жить нам, наземным обитателям.

Филд покачал головой.

– Друд не оставит нас в покое, – негромко промолвил он. – Мне доподлинно известно, что в одном только Лондоне он совершил свыше трехсот убийств с тех пор, как наши с ним дороги впервые пересеклись двадцать лет назад.

– О боже... – ошеломленно проговорил я.

От ужаса у меня все похолодело внутри, как от выпитого залпом стакана лауданума.

Инспектор снова кивнул.

– Вам придется обратиться со всеми расспросами к мистеру Диккенсу, – холодно сказал я. – Это он организовал нашу вылазку. Это он интересовался Друдом. Я с самого начала полагал, что наша... «вылазка», как вы выражаетесь... с сыщиком Хэчери является частью исследовательской работы, проводимой Диккенсом для своего будущего романа или повести. И я по-прежнему так считаю. Но вам придется побеседовать с ним, инспектор.

– Я поехал к нему сразу, как только вернулся в Лондон после долгого отсутствия и узнал от Хэчери, зачем Диккенс нанимал его, – сказал Филд.

Он встал и принялся расхаживать взад-вперед перед моим столом. Толстым указательным пальцем он сперва постукивал по губам, потом почесывал ухо, потом трогал нос сбоку, потом поглаживал каменное яйцо на моем столе, слоновий бивень на книжной полке или персидский кинжал на каминной полке.

– Я не застал мистера Диккенса, он находился в отъезде, во Франции, – наконец продолжил Филд. – Он только на днях вернулся, и я поговорил с ним вчера. Он не сообщил мне никаких полезных сведений.

– Ну что ж, инспектор... – Я развел руками, потом положил окурок сигары на край медной пепельницы и поднялся с кресла. – В таком случае вы сами понимаете, что я ничем не в силах помочь вам. Поиски предпринял мистер Диккенс. И именно он...

Филд остановился и направил на меня палец.

– Вы сами видели Друда? Своими глазами?

Я моргнул. Я вспомнил, как очнулся от дремы на подземном кирпичном причале, когда Диккенс вернулся в плоскодонной лодке с двумя безмолвными провожатыми. Взглянув на хронометр, я понял, что солнце взошло двадцать минут назад, а значит, Хэчери уже покинул склеп. Неподражаемый отсутствовал более трех часов. Несмотря на реальную опасность, несмотря на реальный риск подвергнуться нападению малолетних каннибалов, я задремал, сидя по-турецки на влажных кирпичах, с заряженным и взведенным револьвером в руках.

– Я не видел никого, чья внешность соответствовала бы известному мне описанию мистера Друда, – сухо промолвил я. – И больше я не произнесу ни слова на данную тему, инспектор Филд. Я уже говорил вам и повторю в последний раз: эту вылазку, эти поиски организовал мистер Диккенс, и если он не желает рассказывать вам о событиях той ночи, значит я, как джентльмен, тоже обязан хранить молчание. Желаю вам доброго дня, инспектор, а также успехов в вашем...

Я вышел из-за стола и распахнул дверь кабинета, предлагая пожилому инспектору удалиться, но Филд не двинулся с места. Он попыхал сигарой, взглянул на нее и спокойно осведомился:

– Вам известно, зачем Диккенс ездил во Францию?

– Что? – Я был уверен, что ослышался.

– Я спросил, мистер Коллинз, известно ли вам, зачем Чарльз Диккенс ездил во Францию на прошлой неделе.

– Нет, понятия не имею, – сказал я звенящим от раздражения голосом. – Среди джентльменов не принято совать нос в дела других джентльменов.

– Ну да, разумеется. – Инспектор Филд снова улыбнулся. – Диккенс провел несколько дней в Булони, а если точнее, часть времени – в Булони, а часть – в крохотной деревушке, расположенной в нескольких милях к югу от города. Она называется Кондетт, и там мистер Диккенс вот уже несколько лет – а именно с шестидесятого года – арендует скромное шале с садом у некоего месье Боку-Мютеля. Там часто останавливается некая актриса – ныне двадцатипятилетняя – по имени Эллен Тернан со своей матерью. В Кондетте Чарльз Диккенс проводил время в обществе названных дам – иные его визиты длились до недели – свыше пятидесяти раз с той поры, как он якобы снял, но в действительности купил шале в шестидесятом году. Вероятно, вам хочется закрыть дверь, мистер Коллинз.

Я затворил дверь, но остался стоять возле нее, ошеломленный. Считая Эллен Тернан, ее мать, Диккенса и меня самого, не более восьми человек на свете знали или хотя бы догадывались о шале в Кондетте и причине частых поездок Диккенса туда. Если бы мой брат Чарльз не состоял в браке с дочерью Диккенса, я сам никогда ничего не узнал бы.

Инспектор Филд вновь принялся расхаживать по комнате, держа палец возле уха, словно тот нашептывал ему какие-то сведения.

– Сейчас мисс Тернан с матерью постоянно живут в Англии – я имею в виду, со времени Стейплхерстской катастрофы, случившейся в июне. Можно предположить, что в течение четырех дней, недавно проведенных в Булони, мистер Диккенс заканчивал все дела, связанные с шале в Кондетте. Чтобы добраться дотуда, мистеру Диккенсу пришлось проделать – в обратном направлении, разумеется, – тот самый путь, каким он возвращался из Франции, когда произошло железнодорожное крушение. Мы с вами оба знаем, мистер Коллинз, что подобная поездка наверняка стала тяжелым испытанием для нервов вашего друга... ведь нервы у него сильно расстроены после катастрофы.

– Да, пожалуй, – сказал я.

Какого черта нужно этому типу?

– Из Булони, – продолжал неутомимый пожилой господин, – Диккенс отправился в Париж, где провел пару дней. Человек более подозрительный, чем я, мог бы предположить, что поездка в Париж являлась попыткой замести следы, как выражаются иные сыщики.

– Инспектор Филд, по-моему, все это не...

– Не хотелось бы перебивать вас, сэр, но вам следует знать – чтобы упомянуть при скорой встрече с вашим другом, – что в Париже у мистера Диккенса случилось кровоизлияние в мозг, по всем признакам довольно сильное.

– Боже мой, – сказал я. – Кровоизлияние в мозг. Я ничего не знал. Вы уверены?

– В таких случаях ничего нельзя утверждать с уверенностью, как вы сами понимаете, сэр. Но в Париже с мистером Диккенсом случился удар, и он, будучи отнесен в свой номер в гостинице, несколько часов находился в самом плачевном состоянии, не в силах ответить на обращенные к нему вопросы или хотя бы внятно произнести несколько мало-мальски осмысленных слов. Французские врачи настаивали на госпитализации, но мистер Диккенс приписал случившееся «солнечному удару» – так он выразился, сэр, – и просто отлежался один день в парижской гостинице, а потом еще два дня в Булони, прежде чем вернуться в Англию.

Я снова подошел к столу и повалился в кресло.

– Чего вы от меня хотите, инспектор Филд?

Он наивно округлил глаза:

– Я ведь уже сказал вам, чего я не только хочу, но и требую, мистер Коллинз. Всех сведений о субъекте по имени Друд, известных вам и Чарльзу Диккенсу.

Я устало потряс головой:

– Вы пришли не по адресу, инспектор. Чтобы узнать что-нибудь новое об этом вашем Друде, вам придется снова поехать к Диккенсу. Мне не известно о нем ровным счетом ничего.

Филд медленно покивал:

– Я непременно поговорю с мистером Диккенсом еще раз, мистер Коллинз. Но я пришел по адресу. Я жду от вас серьезной помощи в моем расследовании, касающемся Друда. Я рассчитываю, что вы и добудете у Чарльза Диккенса все необходимые мне сведения.

Я рассмеялся не без горечи и снова потряс головой:

– С какой стати мне обманывать доверие моего друга, выведывая у него информацию для вас, инспектор – но только по почетному именованию – Чарльз Фредерик Филд?

Он усмехнулся в ответ на плохо завуалированное оскорбление.

– Ваша служанка, открывшая мне дверь и проводившая меня к вам, мистер Коллинз... Она весьма привлекательная женщина, несмотря на возраст. Вероятно, тоже актриса в прошлом?

Продолжая улыбаться, я покачал головой:

– Насколько мне известно, инспектор, миссис Г*** никогда не выступала на сцене. А если и выступала, меня это нисколько не касается, сэр. Как не касается вас.

Филд кивнул и вновь принялся расхаживать по кабинету, выпуская клубы табачного дыма и задумчиво трогая указательным пальцем крючковатый нос.

– Совершенно верно, сэр. Совершенно верно. Но мы можем предположить тем не менее, что она является той самой миссис Кэролайн Г***, имя которой впервые появилось в ваших банковских счетах двадцать третьего августа шестьдесят четвертого года – чуть более года назад, сэр, – и которой вы с тех пор выплачиваете через свой банк двадцать фунтов ежемесячно.

Мне все это страшно надоело. Если этот ничтожный человек пытается шантажировать меня, он определенно не на того напал.

– Ну и что, инспектор? Наниматели всегда платят своим работникам.

– Истинная правда, сэр. Есть такое дело. А кроме миссис Кэролайн Г***, ежемесячные выплаты через ваш банк получает также ее дочь... кажется, девочку зовут Хэрриет, как и вашу матушку, поистине приятное совпадение... Хотя в случае с юной Хэрриет – насколько

мне известно, вы называете ее просто Кэрри и ей совсем недавно стукнуло четырнадцать, – так вот, сэр, в случае с юной Хэрриет деньги идут на оплату домашнего обучения и уроков музыки.

– К чему вы клоните, инспектор?

– К тому лишь, что миссис Кэролайн Г*** и ее дочь Хэрриет Г*** вот уже несколько лет числятся в городских переписных листах и налоговых ведомостях как ваши квартирантки и одновременно ваши служанки.

Я промолчал.

Инспектор Филд остановился и посмотрел на меня.

– Я хочу сказать, мистер Коллинз, что немного найдется таких великодушных работодателей, которые сперва нанимают в услужение своих бывших квартиранток, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, а потом оплачивают домашнее обучение юной служанки, не говоря уже о дорогостоящих уроках музыки.

Я устало потряс головой:

– Можете оставить свои жалкие попытки шантажа, недостойные джентльмена, *мистер Филд*. Всем моим друзьям известны устройство моей личной жизни и мое стойкое отвращение к институту брака, а равно к пошлому жизненному укладу и нравственным нормам среднего класса. Миссис Г*** и ее дочь на протяжении многих лет проживают в моем доме, и мои друзья ничего не имеют против такого положения вещей. Кэролайн уже давно выполняет роль хозяйки дома, помогая мне принимать и развлекать гостей. Здесь нет никакого обмана, и мне совершенно нечего скрывать.

Филд кивнул:

– Ваши друзья мужского пола – некоторые из них действительно относятся к такому положению вещей вполне спокойно. Однако вы не станете отрицать, что они никогда не приходят к вам на обеды со своими женами. И хотя здесь нет никакого обмана – если, конечно, не считать ваших письменных показаний, где вы сообщили переписчикам населения, что миссис Г*** является вашей служанкой, как и некая Хэрриет Монтегю шестнадцати лет от роду, хотя Хэрриет Г***, дочери миссис Г***, тогда едва стукнуло десять, и прочих данных под присягой заявлений относительно двух упомянутых достойных дам, – так вот, хотя здесь нет никакого обмана, представляется совершенно очевидным, почему вот уже несколько лет мистер Диккенс применительно к маленькой Хэрриет употребляет слово «дворецкий», а мать девочки именуется не иначе как «домовладельцем».

Я ошеломленно уставился на него. Откуда он может знать о шуточных прозвищах, придуманных Диккенсом, если только люди, работающие на отставного инспектора, не проверяют мою частную переписку?

– Хэрриет не моя дочь, инспектор, – процедил я сквозь зубы.

– О нет, разумеется, нет, мистер Коллинз. – Пожилой господин улыбнулся и помахал пальцем. – Я не имел в виду ничего подобного. Даже самый бездарный сыщик в два счета выяснил бы, что некая Кэролайн Комптон, дочь плотника Джона Комптона и его жены Сары, в пятидесятом году вышла замуж за некоего Джорджа Роберта Г***, служащего счетоводной конторы в Клеркенуэлле. Бракосочетание состоялось тридцатого марта, если мне не изменяет память. Тогда молодой Кэролайн было двадцать лет, а Джорджу Роберту Г*** всего годом больше. Их дочь Элизабет Хэрриет – которую вы, сэр, предпочитаете называть Хэрриет, вероятно в честь своей матушки, или Кэрри, по причинам, известным только вам одному, – родилась в Сомерсете, на окраине Бата, третьего февраля пятьдесят первого года. К великому прискорбию, ее отец, Джордж Г***, в следующем году заболел чахоткой и умер, оставив после себя молодую вдову с годовалой дочкой на руках. В следующий раз бедная миссис Г*** попала в поле зрения властей спустя несколько лет, когда она держала старьевщицкую лавку на Чарльтон-стрит – близ Фицрой-Сквер, как вам наверняка известно, сэр, – и

у нее возникли трудности с выплатой долгов. Скорее всего, история закончилась бы печально – дело могло бы дойти даже до долговой тюрьмы, мистер Коллинз, – если бы не вмешательство некоего джентльмена, произошедшее, кажется, в мае пятьдесят шестого года.

– Инспектор Филд, – резко произнес я, снова поднимаясь на ноги, – наш разговор закончен. – Я двинулся к двери кабинета.

– Не совсем еще, сэр, – мягко промолвил он.

Я подступил к нему со сжатыми кулаками и проговорил дрожащим от ярости голосом:

– Послушайте, сэр, я вас не боюсь! Мне нет до вас никакого дела. Ваши жалкие и низкие попытки шантажом вынудить меня обмануть доверие одного из ближайших моих друзей не принесут вам ничего, помимо презрения и осуждения, которых вы, несомненно, заслуживаете. Я свободный человек, сэр. Мне нечего скрывать!

Филд кивнул. Толстым указательным пальцем, уже вызывавшим у меня крайнее раздражение, он легонько постукивал по нижней губе.

– Уверен, так оно и есть, мистер Коллинз. Честным людям, как правило, нечего скрывать от окружающих.

Я открыл дверь. Моя рука, лежавшая на медной дверной ручке, заметно дрожала.

– Прежде чем я удалюсь, сделайте милость, удовлетворите мое праздное любопытство, сэр, – спокойно произнес Филд, взяв свой цилиндр и двинувшись ко мне. – Скажите, пожалуйста, известна ли вам некая молодая особа по имени Марта Р***?

– Что? – с трудом выдавил я.

– Мисс Марта Р***, – повторил он.

Я затворил дверь столь поспешно, что та громко хлопнула. Нигде в коридоре я не приметил Кэролайн, но она часто пряталась в пределах слышимости от моего кабинета. Я открыл рот, но не нашел подходящих слов.

Мое замешательство несколько не огорчило инспектора Чарльза Фредерика Филда.

– Впрочем, с какой стати вам водить знакомство с мисс Р***? – вкрадчиво проговорил он. – Она бедная служанка, работающая по найму в частных домах и гостиницах, по словам ее бедных родителей, – а они действительно бедные в прямом и переносном смысле. Оба они – люди безграмотные. И оба родом из Уинтертона, сэр. Предки отца мисс Р*** на протяжении века-полтора служили на судах ярмутской рыболовецкой флотилии, но сам отец перебивался случайной работой в Уинтертоне, а Марта, покинувшая родной дом два года назад, подражалась служанкой в местных гостиницах.

Я ошарашенно смотрел на Филда, борясь с тошнотой.

– Вы бывали в Уинтертоне, сэр? – спросил жалкий человечек.

– Нет, – промямлил я. – Не припомню.

– Однако всего год назад вы довольно долго отдыхали в окрестностях Ярмута – разве не так, мистер Коллинз?

– Не отдыхал, – сказал я.

– А что вы там делали, сэр? Я не вполне вас понял. Верно, у вас першит в горле от табачного дыма?

– То был не отдых как таковой. – Я прошагал обратно к столу, но не сел в кресло. Опершись всеми десятью трясущимися пальцами о заляпанную чернилами столешницу, я подался вперед и добавил: – Я там собирал материал.

– Собирали материал, сэр? О... для одного из ваших романов.

– Да, – проговорил я. – По ходу работы над последним моим романом, «Армадейл», мне потребовалось составить ясное представление о тамошних бухтах, заливах, пейзажах и всем таком прочем.

– Ах да... разумеется. – Жалкий человечек постучал указательным пальцем себя по груди, потом наставил его на меня. – Я читал отдельные главы из этого вашего «Арма-

дейла» – в настоящее время роман издается выпусками в журнале «Корнхилл», если я не ошибаюсь. Там упоминается одна выдуманная деревушка под названием Хорли-Миер, созвучным с названием вполне реальной деревни Хорси-Миер, до которой можно добраться морем из Ярмута или по суше из Уинтертона, коли ехать оттуда по ведущей на север дороге, – не правда ли, сэр?

После продолжительной паузы я сказал:

– Я люблю путешествовать морем, инспектор. По правде говоря, тогда я действительно отчасти отдыхал. Я отправился из Ярмута на север в сопровождении двух близких друзей моего брата Чарльза... они тоже любят путешествовать морем.

– Ясно. – Инспектор кивнул, не сводя с меня влажных непроницаемых глаз. – Говорить правду всегда выгодно, так я считаю. Человек, с самого начала говорящий всю правду, избавляет себя от многих проблем. А упомянутые вами друзья – это часом не мистер Эдвард Пиггот и мистер Чарльз Уорд, сэр?

Я уже не находил в себе сил удивляться. Этот господин с влажными глазами и неутомимым указательным пальцем казался более всеведущим, чем любой повествователь в любом произведении, написанном мной, Диккенсом, Чосером, Шекспиром или любым другим смертным. И более зловредным, чем любой негодяй (включая Яго), созданный пером любого из нас. Я продолжал опираться о стол побелевшими от напряжения пальцами и продолжал слушать.

– Мисс Марте Р*** прошлым летом исполнилось восемнадцать, мистер Коллинз. Ее родители полагают, что прошлым летом, в июле, она познакомилась с неким мужчиной – то ли в «Фишерменз ритерн» в самом Уинтертоне, то ли в ярмутской гостинице, где тогда работала служанкой.

Филд умолк. Он легонько постучал указательным пальцем по потухшей сигаре в медной пепельнице, словно от одного прикосновения пальца окурок мог снова загореться. Я почти удивился, что этого не произошло.

Я перевел дыхание.

– Вы хотите сказать, что эта... эта мисс Р***... пропала без вести, инспектор? Или убита? Объявлена мертвой своими родственниками и властями Уинтертона или Ярмута?

Пожилой господин рассмеялся:

– Да упаси боже, сэр, ни в коем случае! Ничего подобного. Марта регулярно появлялась в Уинтертоне с тех пор, как рассказала родителям о своем знакомстве со «славным джентльменом», состоявшемся прошлым летом. Но в известном смысле она действительно пропала, сэр.

– О?

– Да. Минувшим летом, в июне, когда «славный джентльмен» в очередной раз ненадолго наведалься в Ярмут – вероятно, по делам, связанным с работой, – Марта Р*** исчезла из Уинтертона и Ярмута, но, если верить неофициальным источникам, объявилась в Лондоне.

– Неужели? – сказал я.

Памятной июльской ночью я так и не выстрелил из огромного двустольного револьвера, врученного мне сыщиком Хэчери. Поставив курок на предохранитель, я затолкал увесистую штукуну в карман, а когда мы, проделав обратный путь по канализационным туннелям и катакомбам, поднялись наверх и, к великому нашему облегчению, обнаружили, что Хэчери ждет нас у склепа, хотя солнце давно взошло, я отдал оружие здоровенному сыщику. Сейчас я пожалел, что не оставил револьвер у себя.

– Именно так, – промолвил Филд. – По слухам, девятнадцатилетняя служанка из Уинтертона в настоящее время проживает в наемных комнатах на Болсовер-стрит – пожилая домовладелица обретается по тому же адресу, но мне сказали, что жильцы пользуются

отдельным входом. Если я не ошибаюсь, Болсовер-стрит расположена неподалеку от Мелкомб-плейс, где мы в данный момент находимся.

— Вы не ошибаетесь. — Если бы голоса имели цвета, мой можно было бы назвать совершенно бесцветным.

— Полагаю, я не ошибусь, если скажу, что миссис Кэролайн Г***, с которой вы уже свыше двенадцати лет состоите в отношениях, близких к супружеским, хотя и не благословленных обществом и Богом, а равно ее дочь мисс Хэрриет Г***, к которой вы относитесь самым достойным и великодушным образом, как к своей родной дочери, знают о существовании мисс Марты Р***, в прошлом работавшей служанкой в ярмутской гостинице, а ныне проживающей в наемных комнатах на Болсовер-стрит, и, уж конечно, знают, какую роль мисс Р*** играет в вашей жизни в настоящее время.

— Да, — сказал я. — То есть нет.

— И полагаю, мистер Коллинз, я не ошибусь, если скажу, что и вам самому, и двум дамам, проживающим под одной крышей с вами, будет не очень приятно, коли данные сведения станут известны... им или еще кому-либо.

— Не ошибетесь.

— Прекрасно, прекрасно. — Инспектор Филд взял цилиндр, но не двинулся с места. — Я не люблю ошибаться в своих суждениях, мистер Коллинз.

Я кивнул, ощущая внезапную слабость в коленях.

— Вы часом не собираетесь навестить мистера Диккенса в ближайшее время, сэр? — поинтересовался сыщик, крутя цилиндр в руках и постукивая по полям своим чертовым указательным пальцем. — И в ходе визита найти возможность поговорить с ним о его предположительной встрече с субъектом по имени Друд, состоявшейся в Подземном городе около двух с половиной месяцев назад?

— Собираюсь. — Я бессильно опустился в кресло.

— И мы с вами договорились, сэр, что все сведения, полученные вами от мистера Диккенса, будут в срочном порядке переданы мне?

Я снова кивнул.

— Отлично, сэр. На улице поблизости от вашего дома будет дежурить один паренек, мистер Коллинз. Просто уличный мальчишка, подметальщик по имени Гузберри, но вам не придется разыскивать его, сэр. Он получил приказ сторожить вас здесь. Если вы стукнете тростью или зонтиком по фонарному столбу на углу, малый тотчас подойдет к вам. Днем ли, ночью ли, сэр. Местный констебль согласился не «гонять его», как выражаются полицейские. Передайте с Гузберри любое сообщение для меня, устное или письменное, и я немедленно свяжусь с вами. Вы премного меня обяжете, мистер Коллинз, если добудете полезную информацию. Спросите любого в Лондоне, забывает ли когда-нибудь инспектор Чарльз Фредерик Филд об услугах, ему оказанных, и вам ответят: нет, не забывает. Вы все поняли, сэр?

— Да.

Когда я поднял глаза, инспектор Филд уже исчез. Я услышал, как Кэролайн закрывает за ним входную дверь, а потом направляется вверх по главной лестнице.

После инспектора осталась лишь пелена голубого дыма под потолком моего кабинета.

Глава 8

Гэдсхилл-плейс производил впечатление веселого и безмятежного семейного гнезда, когда я прибыл туда прохладным сентябрьским днем в самом скором времени после визита инспектора Филда. Была суббота, поэтому дети и гости играли во дворе. Мне пришлось признать, что Гэдсхилл представляет собой идеальный образец уютного деревенского дома счастливого семейства. Конечно, Чарльз Диккенс и хотел, чтобы Гэдсхилл представлял собой идеальный образец уютного деревенского дома счастливого семейства. Вернее, Чарльз Диккенс требовал, чтобы все вокруг старательно поддерживали эту иллюзию, эту видимость, и наверняка даже верил (несмотря на отсутствие матери семейства, ныне изгнанной, и несмотря на напряженные внутрисемейные отношения и известные трения с внешним миром), что Гэдсхилл действительно является уютным деревенским домом счастливого семейства: ничего особенного, просто веселая, мирная обитель трудолюбивого писателя, окруженного боготворящими, любящими, понимающими детьми и преданными друзьями.

Иногда, признаться, я чувствовал себя просто Кандидом по сравнению с явленным в лице Чарльза Диккенса доктором Панглоссом.

Дочь Диккенса Кейт, находившаяся во дворе, поспешила мне навстречу, когда я шагал по дорожке, обливаясь потом и промокая платком лоб и шею. Стоял, как я уже упомянул, прохладный осенний день, но я шел пешком от самой станции, а прогулки на такие расстояния всегда давались мне с трудом. Вдобавок, готовясь к встрече с Диккенсом, я выпил два стакана лауданума гораздо раньше обычного часа, и, хотя лекарство не оказывало никакого неприятного побочного действия, мне чудилось, будто трава, деревья, играющие дети и сама Кейт Макриди Диккенс источают слабое сияние.

– Привет, Уилки! – воскликнула Кейт, пожимая мне руку. – Давненько мы с вами не виделись.

– Привет, Кейти. Мой брат тоже приехал в Гэдсхилл на уик-энд?

– Нет-нет. Он немного прихворнул и решил остаться на Кларенс-террас. Я вернусь в город сегодня вечером.

Я кивнул.

– А Неподражаемый?

– Он в своем шале, завершает работу над очередной рождественской повестью.

– Я и не знал, что шале уже готово для жилья.

– Вполне готово. Обставлено еще в прошлом месяце, и с тех пор отец ежедневно работает там. Он вот-вот должен закончить на сегодня, чтобы успеть совершить свою традиционную прогулку. Уверена, он не станет возражать, коли вы отвлечете его от дела. В конце концов, нынче суббота. Вас провести по туннелю?

– Это было бы чудесно, – сказал я.

Мы неторопливо двинулись через лужайку к дороге.

Упомянутое шале Диккенс получил в подарок на прошлое Рождество от актера Чарльза Фехтера. По словам моего брата, который в числе прочих приглашенных гостил в Гэдсхилле с сочельника 1864 года по 5 января, это было не самое веселое Рождество в его жизни – не в последнюю очередь потому, что Чарльз Диккенс забрал себе в голову, будто мой брат Чарльз находится при смерти, а не просто недомогает из-за частых расстройств пищеварения. Скорее всего, разумеется, речь шла не столько о добросовестном диагнозе, сколько о тайном желании Диккенса: бракосочетание Кейти с Чарльзом, состоявшееся прошлым летом, повергло писателя не только в горе, а и в натуральную ярость. Диккенс посчитал, что нетерпимая дочь бросила его в трудный момент жизни, – собственно говоря, так оно и было. Даже мой брат понимал, что Кейт вышла за него не по любви. Она просто хотела

сбежать из отцовского дома после двух лет горьких переживаний, вызванных отлучением матери от семьи.

Кейт – Кейти, как многие называли ее, – не отличалась красотой, но она единственная из всех детей Диккенса унаследовала от отца живой, острый ум, чувство юмора (в ее случае более язвительное), нетерпимость к окружающим, манеру разговора и даже многие театральные повадки. Она сама предложила себя в жены моему брату, но сразу дала понять, что видит в супружестве не любовный союз, а возможность спокойно жить отдельно от отца. Чарльз согласился.

В общем, Рождество 1864 года, когда из-за крепких морозов пришлось безвылазно сидеть в четырех стенах, проходило в Гэдсхилле довольно уныло по сравнению с шумными семейно-гостевыми праздниками, устраивавшимися в предыдущие годы в Тэвисток-хаусе. Во всяком случае, так обстояло дело до утра Рождества, когда Чарльз Фехтер преподнес в дар Неподражаемому... целое швейцарское шале.

Фехтер – странный человек с землистым лицом, почти всегда погруженный в мрачное раздумье и подверженный вспышкам раздражения, направленным на жену и всех подряд (кроме Диккенса), – объявил за завтраком, что таинственные клети и ящики, которые он привез с собой, это «миниатюрное шале» в разобранном виде – хотя на поверку оно оказалось не таким уж миниатюрным. Вполне приличных размеров шале, достаточно большое, чтобы жить в нем при желании.

Воодушевленный и возбужденный, Диккенс тотчас же провозгласил, что всем «сильным, здоровым и холостым гостям» (этим он дал понять, что мой брат не подходит не только по причине своего семейного положения) надлежит выбежать на мороз и заняться сборкой замечательного подарка. Однако Диккенсу, Маркусу Стоуну (а он действительно здоровенный малый), Генри Чорли и призванным на помощь слугам, садовникам, местным умельцам, которых всех оторвали от празднования Рождества в семейном кругу, не удалось разобраться со всеми пятьюдесятью восемью ящиками, содержащими в общей сложности девяносто четыре крупные детали. Работу заканчивал плотник-француз из «Лицеума», позже приглашенный Фехтером.

Шале – оказавшееся вопреки ожиданиям Диккенса гораздо больше, чем просто огромный кукольный дом, – теперь стояло на дополнительном земельном участке писателя, расположенном по другую сторону от Рочестерской дороги. Прелестный «пряничный» коттеджик, затененный высокими кедрами, с единственной просторной комнатой на первом этаже и комнатой поменьше на втором – там имелся резной балкончик, и к нему вела наружная лестница.

Диккенс был в детском восторге от своего шале и, когда весной земля оттаяла, приказал рабочим прорыть под дорогой пешеходный туннель, – чтобы спокойно добираться до шале от дома, не привлекая ничьего внимания и не рискуя попасть под какой-нибудь потрепавший управление экипаж. Кейт рассказывала, что Диккенс буквально прыгал от радости, когда землекопы произвели смычку посередине туннеля, а потом пригласил всех – гостей, детей, рабочих, любопытных соседей и зевак из стоящей через дорогу гостиницы «Фальстаф-Инн» – выпить грога.

Когда мы неспешно вошли в прохладный туннель, Кейт спросила:

– Чем вы с отцом тайно занимаетесь по ночам в последнее время, Уилки? Даже Чарльз не знает.

– О чем вы, собственно, говорите, Кейти?

Она взглянула на меня в полумраке и крепко сжала мою руку.

– Вы знаете, о чем я говорю, Уилки. Пожалуйста, не прикидывайтесь. Даже несмотря на напряженную работу над последними главами «Нашего общего друга» и рождественской повестью, даже несмотря на нынешнюю свою паническую боязнь поездов, отец по меньшей

мере раз в неделю, а порой и дважды в неделю покидает Гэдсхилл, каковое обыкновение он взял после вашего с ним июньского ночного похода. Это подтверждает Джорджина. Он уезжает в Лондон вечерним медленным поездом и возвращается на следующий день очень, очень поздно, в середине утра. И ни слова не говорит ни Джорджине, ни кому-либо из нас о цели своих ночных вылазок. А теперь еще это путешествие во Францию, где он якобы перенес солнечный удар. Мы все, включая даже Чарльза, предполагаем, что вы познакомили отца с какой-то новой формой разврата в Лондоне, а в Париже он попытался пуститься в разгул самостоятельно, но переоценил свои силы.

Кейт говорила шутливым голосом, но в нем слышались нотки подлинного беспокойства. Я похлопал ее по руке и сказал:

– Вы же знаете, Кейти, что джентльмены считают долгом чести хранить секреты друг друга, в чем бы они ни заключались. И уж кому-кому, а вам-то прекрасно известно, что писатели – существа загадочные: мы постоянно исследуем жизнь в самых разных ее проявлениях, там ли, сям ли, днем ли, ночью ли.

Она посмотрела на меня блестящими в полутьме глазами, явно неудовлетворенная моим ответом.

– И вы также знаете еще одно, – продолжал я голосом столь тихим, что он почти поглощался кирпичным потолком и полом туннеля. – Ваш отец никогда не совершит поступков, позорящих его самого или вашу семью. Вы должны понимать это, Кейти.

– Хм... – с сомнением протянула она. Кейт Макриди Диккенс искренне считала, что отец *уже* навлек позор на себя самого и свою семью, изгнав мать из дома и вступив в связь с Эллен Тернан. – Ну, вот и свет в конце туннеля, Уилки, – промолвила она, высвобождая руку. – Здесь я вас оставляю: ступайте к свету – и к нему.

* * *

– Милейший Уилки! Заходите, заходите! Я только сейчас вспоминал вас. Добро пожаловать в мое «орлиное гнездо»! Прошу вас, дорогой друг!

Диккенс выскочил из-за маленького письменного стола и сердечно пожал мне руку, когда я остановился в дверях верхней комнаты. По правде говоря, я не знал, обрадуется ли он моему появлению после двухмесячной разлуки и взаимного молчания. Столь теплый прием удивил меня, и я еще острее почувствовал себя предателем и шпионом.

– Я как раз вношу правки в последние фразы нынешней рождественской повести, – с энтузиазмом сказал Диккенс. – Вещица под названием «Коробейник» – и уверяю вас, дорогой Уилки, она будет пользоваться огромным успехом у читателей. По моим прогнозам, станет очень популярной. Вероятно, лучшая моя рождественская повесть после «Колоколов». Общий замысел возник у меня во Франции. Я закончу буквально через минуту, а затем буду в полном вашем распоряжении до самого вечера, друг мой.

– Да, конечно, – промолвил я, отступая назад.

Диккенс же снова уселся за стол и принялся вымарывать отдельные слова широкими росчерками пера и вписывать правки между строчками и на полях рукописи. Он вдруг представился мне энергичным дирижером, управляющим внимательным и послушным оркестром слов. Я почти слышал музыку, наблюдая за его пером, которое взлетало, стремительно опускалось, окуналось в чернильницу, со скрипом пробегалось по бумаге, снова взлетало и опускалось.

Должен признать, вид из «орлиного гнезда» Диккенса открывался поистине восхитительный. Шале стояло между двумя высокими тенистыми кедрами, что сейчас легко покачивались на ветру, и за многочисленными окнами простирались золотые пшеничные поля, темные леса и снова поля. Далеко вдали даже поблескивала Темза и угадывались белые паруса

проплывающих по ней судов. С крыши особняка через дорогу можно было запросто разглядеть Лондон на горизонте, но из окон шале открывался чудесный буколический пейзаж: далекая река, шпиль Рочестерского собора и широкие поля спелой пшеницы, волнующиеся под легким ветерком. Движение на Рочестер-роуд сегодня было слабым. Диккенс оснастил свое «орлиное гнездо» новехоньким медным телескопом на деревянной треноге, и я хорошо представлял, как он, прикинув к окуляру, по ночам любовается луной, а при свете дня рассматривает дам, катающихся на яхтах по Темзе в теплую погоду. В простенках между окнами висели большие зеркала. Я насчитал пять штук. Диккенс питал слабость к зеркалам. В Тэвисток-хаусе, а теперь и в Гэдсхилл-плейс все спальни, а равно коридоры и вестибюли изобиловали зеркалами, и в рабочем кабинете писателя стояло огромное трюмо. Здесь, в шале, благодаря зеркалам создавалось впечатление, будто ты стоишь на открытой площадке – посреди детского домика без стен, установленного в кроне высокого дерева, – и повсюду вокруг видишь ясное синее небо, солнечный свет, листву, золотые поля и дивные пейзажи. Ветерок, беспрепятственно пролетающий сквозь открытые окна, приносил ароматы цветов, запахи травы, спелой пшеницы, дыма от костра, где жгли листья или сорняки, и даже солоноватый запах моря.

Я невольно подумал о том, насколько не похож этот мир Чарльза Диккенса на мир, представший перед нами ночью в опиумном притоне Сэл, а потом в кошмарном Подземном городе. Сейчас та зловещая тьма отступала, рассеивалась, словно дурной сон, которым, собственно, она и была. Явлю же были яркий солнечный свет и свежие запахи этого мира – все вокруг сияло и пульсировало, будто преображенное в моем восприятии благотворным действием лауданума. У меня просто в голове не укладывалось, каким образом смрадная тьма катакомб и сточных туннелей или даже обычных трущоб может сосуществовать с этой благоуханной светлой реальностью.

– Ну вот и все! – воскликнул Диккенс. – Я закончил. На сегодня. – Он промокнул последнюю страницу рукописи и положил к остальным в кожаную папку. Потом вышел из-за стола и взял в углу свою любимую трость из тернового дерева. – Я еще не гулял нынче. Составите мне компанию, друг мой?

– Да, конечно, – сказал я, на сей раз не столь уверенно.

Он окинул меня веселым, насмешливым и одновременно оценивающим взглядом.

– Я собирался двинуться вдоль опушки Кобхэмского леса, дойти до Чока и Грейвсенда, а потом вернуться домой.

– А... – произнес я; протяженность описанного маршрута составляла двенадцать миль. – А... – повторил я. – Но как же ваши остальные гости? И дети? Разве не в это время дня вы обычно играете с детьми и показываете гостям конюшни?

Диккенс озорно улыбнулся:

– Что, сегодня в семействе появился еще один инвалид, дорогой Уилки?

Я понимал, что он имеет в виду семейство Коллинз. Казалось, он никогда не прекратит долдонить о предполагаемой болезни моего старшего брата.

– Легкое недомогание, – грубовато сказал я. – Ревматоидная подагра, которая время от времени донимает меня, как вам известно, дорогой Диккенс. Сегодня она решила обостриться. Меня устроила бы прогулка покороче.

Я хотел дать понять, что меня вполне устроила бы неспешная прогулка до гостиницы «Фальстаф-Инн», расположенной по соседству.

– Но ведь у вас подагра не в ногах, верно?

– В общем – да, – промямлил я, не желая говорить, что подагрические боли терзают все мое существо при обострении недуга, какое начиналось у меня нынче утром. Если бы я не выпил спозаранку двойную дозу лауданума, то сейчас лежал бы пластом в постели. – Обычно больше всего у меня от нее страдают глаза и голова.

– Ну хорошо, – вздохнул Диккенс. – Я надеялся найти спутника сегодня – у нас в этот уик-энд гостят Форстеры, а Джон, вы знаете, совсем обленился с тех пор, как унаследовал состояние жены. Но мы с вами совершим совсем короткую прогулку: дойдем до Чатема и Форт-Питта, пройдем через болото Кулинг-Марш и вернемся домой.

Я кивнул, хотя по-прежнему без всякого энтузиазма. Предстояло преодолеть шесть с лишним миль, шагая с обычной для Диккенса скоростью ровно четыре мили в час. В голове у меня зашумело, и все суставы заныли при одной мысли о столь тяжком испытании.

* * *

Все оказалось не так страшно, как я боялся. День стоял такой погожий, в воздухе веяло такой приятной прохладой, свежие ароматы так бодрили и воодушевляли, что я ни разу не отстал от Диккенса, когда мы прошли по дороге до проселка, по проселку до тропинки, по тропинке до заросшей травой колеи вдоль канала, а потом двинулись через осенние пшеничные поля (стараясь не вытаптывать урожай неизвестного фермера), достигли леса, прошли по тенистой лесной тропе, а затем вернулись к дороге и продолжили путь по обочине.

В течение первого получаса молчаливой ходьбы – моей молчаливой ходьбы, поскольку Диккенс добродушно болтал без устали, обсуждая подснеповские⁷ черты Форстера, проблемы Гильдии, деловую несостоятельность своего сына Альфреда, незавидное положение своей дочери Мэри на матримониальном рынке, восстание негров на Ямайке, все еще не дававшее ему покоя, явную лень и недалекость самого младшего своего сына Плорна, – я только и делал, что кивал да обдумывал, как бы мне хитростью вытянуть из Неподражаемого информацию, интересующую инспектора Филда.

Наконец я отказался от мысли действовать исподволь и сказал:

– Вчера ко мне приходил инспектор Филд.

– Да, – небрежно бросил Диккенс, постукивая по земле тростью в такт скорым шагам. – Я так и понял.

– Вы не удивлены?

– Нисколько, дорогой Уилки. Этот гнусный тип приезжал в Гэдсхилл в четверг. Я предположил, что следующей его жертвой станете вы. Он угрожал вам?

– Да.

– Позвольте поинтересоваться – чем? Меня он пытался шантажировать самым неуклюжим и топорным образом.

– Он обещал предать огласке... известные обстоятельства моей личной жизни.

Тогда я был уверен лишь в одном: Диккенс не знает – не может знать – о существовании мисс Марты Р***. Инспектор Филд знает, но у него нет никаких резонов ставить в известность Неподражаемого.

Диккенс от души рассмеялся:

– Грозился рассказать всему свету о Домовладельце и Дворецком, да? Я так и думал, Уилки. Я так и думал. Мистер Филд по-бычьему напорист, но по-бычьему же недалек умом. Плохо же он знает ваш независимый нрав и ваше безразличие к общественному мнению, если воображает, будто подобная угроза заставит вас предать старого друга. Все ваши друзья знают о скелете в вашем шкафу – точнее, о двух очаровательных и остроумных женских скелетах, – и никто из них ничего не имеет против.

– Да, – сказал я. – Но почему он так наседает на нас, пытаясь вытянуть сведения о Друде? Можно подумать, будто от них зависит его жизнь.

⁷ Мистер Подсноп – один из героев романа «Наш общий друг»; «подснеповщиной» Диккенс называл систему взглядов благополучных буржуа, презирающих все неанглийское.

Мы свернули с дороги на тропу, что вилась через болото Кулинг-Марш.

– В известном смысле жизнь нашего мистера Филда и вправду зависит от того, сумеет ли он доказать, что мистер Друд действительно существует, и установить его местонахождение, – сказал Диккенс. – Вы наверняка обратили внимание, что я называю нашего шантажиста мистером Филдом, а не инспектором Филдом.

– Да, – сказал я; мы шли по особо топкому участку тропы, осторожно переступая с камня на камень. – Филд упомянул, что теперь, когда он занимается частным сыском, звание инспектора является просто почетным именованием.

– Которое он сам себе присвоил, к великому неудовольствию сыскного отдела Скотленд-Ярда и Столичной полиции, друг мой. Я держал в поле зрения нашего мистера Филда с тех пор, как – прошу прощения за нескромность – увековечил его в образе инспектора Баккета в «Холодном доме», а еще раньше в восторженном очерке «С инспектором Филдом при отправлении службы», напечатанном в «Домашнем чтении» в пятьдесят первом году. Вскоре после этого он ушел в отставку... в пятьдесят третьем, кажется.

– Но тогда вы им восхищались, – заметил я. – Во всяком случае, в достаточной степени, чтобы взять его за прототип весьма симпатичного персонажа.

Диккенс снова рассмеялся. Мы уже перебрались через болото и теперь двинулись обходной тропой обратно, в сторону далекого Гэдсхилла.

– О, я восхищаюсь многими людьми, способными послужить прототипами интересных персонажей, и вы здесь не исключение, милейший Уилки. Иначе разве стал бы я столько лет терпеть подснеповские манеры Форстера? Но наш дорогой мистер Филд с молодых лет привык действовать наглым нахрапом, а такие люди частенько зарываются и получают по заслугам.

– Вы хотите сказать, что он в немилости у Скотленд-Ярда и Столичной полиции? – спросил я.

– Именно так, Уилки. Вы, случайно, не следили за известным делом об отравлении Палмера, наделавшим много шума лет эдак... ох, уже целых десять лет назад? Как же все-таки быстро летит время! Так вы следили за делом Палмера по газетам или по разговорам в клубе?

– Нет.

– Неважно, – промолвил Диккенс. – Достаточно сказать, что наш отставной инспектор Филд участвовал в расследовании этого громкого убийства, пользовался огромной популярностью у газетчиков и неизменно представлялся инспектором Филдом. Честно говоря, Уилки, мне кажется, наш толстопалый друг всячески старался создать у всех впечатление, что он по-прежнему состоит на службе в Столичной полиции. А настоящим сыщикам и инспекторам это не нравилось. Нисколько не нравилось. Поэтому ему перестали выплачивать пенсию.

Я резко остановился.

– Пенсия? – воскликнул я. – Так дело всего-навсего в пенсии? Этот тип допрашивает вас, пытается шантажировать меня – и все из-за какой-то... паршивой... пенсии?

Диккенс явно не хотел сбиваться с темпа ходьбы, но все же остановился, пару раз рубанул тростью по придорожному бурьяну и широко улыбнулся:

– Ну да, из-за пенсии. Наш псевдоинспектор держит частное сыскное бюро и таким образом зарабатывает на жизнь – я заплатил, прямо скажем, кругленькую сумму за услуги, оказанные нам ночью верзилкой Хэчери. Но если вы помните, Уилки, я говорил вам однажды, насколько... полагаю, слово «алчный» в данном случае вполне уместно... насколько алчным всегда был и до скончания дней останется бывший полицейский по имени Филд. Он не может смириться с утратой пенсии. Думаю, он пойдет даже на убийство – только бы ее вернуть.

Я растерянно моргнул.

– Но почему именно Друд? – наконец спросил я. – Чего Филд добьется, если разыщет этого фантома?

– Возможно, восстановления пенсии, – сказал Диккенс, трогаясь с места. – По крайней мере, он так считает. В настоящее время министр внутренних дел сэр Джордж Грей пересматривает дело о приостановке пенсионных выплат Филду – после многочисленных ходатайств нанятого Филдом адвоката, чьи услуги обошлись недешево, уверяю вас! И я нисколько не сомневаюсь, что мистер Филд в плену своих старческих заблуждений...

Я не стал перебивать и указывать, что Чарльз Фредерик Филд всего на семь лет старше самого Диккенса.

– ...вообразил некий фантастический вариант развития событий, где он выслеживает и арестовывает короля преступного мира – неуловимого Друда, ускользнувшего от старшего инспектора Филда двадцать лет назад, – после чего министр внутренних дел, сыскной отдел Скотленд-Ярда, а равно все прежние друзья и новые люди, служащие в Столичной полиции, не только прощают его и восстанавливают в пенсионных правах, но также увенчивают лавровым венком и несут к вокзалу Ватерлоо на своих могучих плечах.

– А он действительно король преступного мира? – тихо спросил я. – Филд вчера сказал, что за минувшие годы Друд убил свыше трехсот человек...

Диккенс бросил на меня быстрый взгляд. Я заметил, что складки и морщины на его лице за лето стали глубже.

– По-вашему, это достоверная цифра, дорогой Уилки?

– Ну... не знаю, – сказал я. – Признаюсь, она кажется абсурдной. Я никогда не слышал о трехстах нераскрытых убийствах, совершенных в Уайтчепеле или в любом другом районе. Но в июле мы с вами отправились на экскурсию по жутким местам, Диккенс. Просто жутким. К слову, вы так и не рассказали мне, что с вами случилось после того, как вы уплыли на дурацкой лодке.

– Да, действительно, – кивнул он. – Той ночью я обещал вам рассказать все в самом скором времени. А уже прошло два месяца. Прошу прощения за столь долгое промедление.

– Да черт с ним, с промедлением, – сказал я. – Но мне хотелось бы узнать о событиях той ночи. Хотелось бы узнать, что вам удалось выяснить про Друда, в поисках которого мы предприняли ночную вылазку.

Диккенс снова взглянул на меня:

– И вас не беспокоит, что наш общий друг Филд шантажом вытянет из вас эту информацию?

Я стал как вкопанный.

– Диккенс!

На сей раз он не остановился, но продолжал идти дальше, крутя в воздухе тростью и с улыбкой оглядываясь на меня.

– Я шучу, дорогой Уилки, шучу. Пойдемте же... не стойте на месте, не будем сбиваться с шага под конец пути. Давайте догоняйте меня и, прошу вас, умерьте свое яростное сопение до обычного пыхтения кузнечных мехов – тогда я поведаю вам обо всем, что со мной приключилось в Подземном городе после того, как я оставил вас на кирпичном причале в канализационном туннеле под катакомбами.

Глава 9

— Оставив вас на причале, — начал Диккенс, — я принялся рассматривать несуразную лодчонку. Она напоминала убогое суденышко Хексама Гафера, промышляющего поиском трупов и всяких разных предметов в Темзе, но в данном случае какой-то умалишенный плотник решил превратить свое творение в жалкое подобие венецианской гондолы. Чем дольше я рассматривал двух своих безмолвных провожатых — рулевого на корме и гребца на носу, — тем меньше они мне нравились, Уилки. Позолоченные карнавальные полумаски прикрывали у них только глаза, и потому я с легкостью распознал в обоих особой мужского пола, хотя мужского лишь по названию. Помните непристойных гермафродитов, в виде которых изображаются ангелы на фресках в католических соборах на Континенте? Так вот, мои спутники обладали еще ярче выраженными гермафродитными чертами, и надетые на них нелепые средневековые рейтузы и туники лишь подчеркивали их женоподобность. Я решил мысленно называть кастрата на носу Венерой, а евнуха на корме Меркурием.

Мы проплыли по широкому потоку сточных вод ярдов сто или больше. Я оглянулся, но, сдается мне, вы так ни разу и не посмотрели в мою сторону, пока наша гондола не повернула, следуя изгибу туннеля, и мы с вами не скрылись друг у друга из виду. Маленькие фонари, висевшие на железных штырях на носу и корме, слабо рассеивали мрак. Лучше всего я различал влажные кирпичные своды над нами, поблескивающие в свете фонарей.

Полагаю, мне нет нужды напоминать вам, Уилки, какое жуткое зловоние стояло в том первом туннеле. Я сомневался, что у меня хватит сил долго сдерживать рвотные позывы. Но к счастью, через несколько сотен ярдов пути по смрадному Стиксу рулевой в полумаске направил нашу гондолу в боковой туннель — столь узкий, что его следует назвать скорее сточной трубой. Венере и Меркурию (да и мне тоже) пришлось низко пригибать голову, когда они продвигали наше суденышко вперед, отталкиваясь облаченными в перчатки руками от низкого кирпичного потолка и стен, сходящихся все теснее. Потом мы выплыли в широкий поток — и я употребляю слово «поток» намеренно, Уилки, поскольку этот канализационный туннель напоминал больше забранную под высокие кирпичные своды подземную реку шириной с любой наземный приток Темзы. Вы знаете, что в Лондоне многие реки частично или полностью отведены под землю — например, Флит? Разумеется, знаете. Просто о них как-то не думаешь.

Мои андрогинные провожатые долго вели лодку вниз по течению, и дальше — должен предупредить вас, друг мой, — повествование становится фантастическим.

Наш первый провожатый, сыщик Хэчери, а равно китайский опиумный призрак Король Лазарь называли сокрытый под Лондоном мир Подземным городом, но теперь я увидел, что замысловатый лабиринт, состоящий из простых и двухъярусных подвалов, сточных труб, пещер, боковых ходов, заброшенных штолен, прорытых задолго до основания здесь первого поселения, забытых катакомб и недостроенных туннелей, является в буквальном смысле городом — эдакий жуткий Лондон под Лондоном. Настоящий Подземный город.

Мы медленно плыли по течению, и, когда мои глаза привыкли к темноте, что сгущалась по сторонам широкого потока, я вдруг стал различать во мраке людей. Именно так, дорогой Уилки, — людей. Не беспризорных мальчишек, которые, как я теперь понял, походили скорее на одичалых псов или свирепых волков, некогда рыскавших в окрестностях какой-нибудь средневековой деревни, а самых обычных людей. Мужчин и женщин. Детей. Целые семьи у костров. А также грубо сколоченные хибары, подстилки, тюфяки, даже печки, старые колченогие стулья и продавленные кресла в выбитых в кирпичных стенах нишах, боковых пещерах и на широких, покрытых илистой грязью берегах.

Там и сям из вязкой, скользкой жижи вырывались языки голубого пламени, напоминающие трепетные огоньки свечей на рождественском пудинге, Уилки, и иные из жалких оборванцев в поисках света и тепла теснились вокруг таких вот костерков, горевших в местах газовых выбросов.

Потом, когда мне уже стало казаться, что Венера и Меркурий будут вести нашу гондолу по темным водным «улицам» вечно, туннель резко расширился, и мы приблизились к настоящей пристани – вырубленным в скальной стене широким ступеням, ярко освещенным факелами. Меркурий пришвартовал гондолу, а Венера помог мне выйти из шаткого суденышка. Оба они, недвижимые и безмолвные, оставались в лодке, пока я поднимался по ступеням к медной двери.

По сторонам лестницы стояли большие египетские статуи, вытесанные из камня, а над дверью размещался темный бронзовый барельеф, похожий на выставленные в Британском музее древние барельефы, среди которых чувствуешь себя весьма неуютно зимним вечером незадолго до часа закрытия. На нем изображались мужчины с головой шакала или птицы, держащие в руке посохи, скипетры и крюки. Каменную перемычку над широким дверным проемом сплошь покрывали рисуночные письмена – иероглифы, – какие можно увидеть на иллюстрациях обелисков в книгах о Египетском походе Наполеона. Они напоминали неумелые детские рисунки, все эти вырезанные на камне волнистые линии, глаза, птицы... множество разных птиц.

Два безмолвных, но вполне живых чернокожих великана – при виде их на ум мне пришло слово «нубийцы» – стояли у массивной двери и распахнули передо мной створы, когда я приблизился. Они были в черных балахонах без рукавов и с открытой грудью, оба держали в руках диковинные посохи с крюком – похоже, железные.

Ведущая от подземной реки широкая лестница, статуи и барельефы, стражи у медной двери выглядели столь внушительно, что я приготовился вступить в некий величественный храм – однако, хотя освещенные фонарями гулкие помещения действительно смутно напоминали языческое святилище, у меня возникло впечатление, будто я очутился скорее в библиотеке, нежели в храме. На полках, что тянулись рядами вдоль стен первой залы и боковых комнат, лежали пергаментные свитки, глиняные таблицы и вполне современные книги. Я мельком заметил на корешках названия научных трудов и справочников, какие можно найти в любой хорошей библиотеке. В каждом помещении стояли несколько столов, освещенных факелами или свисающими с потолка жаровнями, и одна-другая низкая кушетка вроде тех, что встречались в богатых домах древних римлян, греков и египтян, если верить историкам. В комнатах сидели или расхаживали вдоль полок люди, в большинстве своем похожие на ласкаров, мадьяров, индусов и китайцев. Но никаких погруженных в опиумный сон старцев там не было – никаких лежачих мест, никаких опиумных трубок и ни слабейшего запаха проклятого наркотика. Я обратил внимание, что почти у всех мужчин невесть почему обриты головы.

Друд ждал меня во второй зале, Уилки. Он сидел под шипящим фонарем за маленьким столом, заваленным книгами и свитками, и пил чай из веджвудской чашки. Одетый в желтовато-коричневый балахон, сейчас он нисколько не походил на гробовщика в дурно скроенном костюме – выглядел гораздо внушительнее, – но при свете фонаря все изъяны внешности выделялись еще резче: почти лысый череп со шрамом, безвекие глаза, уродливый нос, словно укороченный ножом хирурга, слегка раздвоенная верхняя губа и бесформенные обрубки вместо ушей. Он встал и протянул мне руку.

– Добро пожаловать, мистер Диккенс-с-с, – проговорил он с характерным присвистом и пришепетыванием, которые я столь безуспешно пытался воспроизвести для вас. – Я ждал вас-с-с.

– Откуда вы знали, что я приду, мистер Друд? – спросил я, пожимая холодную белую руку и стараясь не поморщиться от отвращения.

Он улыбнулся, Уилки, и я снова увидел мелкие, редкие, очень острые зубы и мелькающий за ними розовый язык, поразительно проворный.

– Вы человек весьма любопытный, мистер Диккенс-с-с, – сказал Друд. – Это видно по вашим замечательным романам и повес-с-стям. Все ваши с-с-сочинения вызывают у меня подлинное вос-с-схищение.

– Благодарю вас, вы очень любезны, – отвечивал я.

Можете представить, дорогой Уилки, как чудно я чувствовал себя, сидя в храмоподобной библиотеке Подземного города со странным субъектом, ставшим постоянным персонажем моих снов со дня Стейплхерстской катастрофы, и слушая, как он хвалит мои книги, словно я только что закончил публичные чтения в Манчестере.

Прежде чем я успел придумать, что еще сказать, Друд налил мне чаю в изящную фарфоровую чашку и промолвил:

– Уверен, у вас-с-с ес-с-сть вопрос-с-сы ко мне.

– Конечно, мистер Друд. И я надеюсь, вы не сочтете их дерзкими или чересчур личными. Не стану скрывать, мне не терпится узнать, кто вы такой и откуда родом, что привело вас сюда... в Подземный город, почему вы оказались на фолкстонском поезде, в общем – всё.

– В таком случае я рас-с-скажу вам все, мистер Диккенс-с-с, – ответил мой дикий собеседник.

Следующие полчаса я пил чай и слушал его повествование, друг мой. Вы хотели бы узнать биографию Друда прямо сейчас – или отложим это на другой день?

* * *

Я огляделся по сторонам. Мы находились примерно в миле от Гэдсхилл-плейс. Я осознал, что слегка задыхаюсь от быстрой ходьбы, но головная боль улетучилась, пока я завороженно внимал невероятному рассказу.

– Зачем откладывать, Диккенс? Давайте уж дослушаем историю до конца.

– До конца еще далеко, дорогой Уилки, – сказал Диккенс, постукивая тростью по земле на каждом втором шаге. – Если честно, история только начинается. Но я расскажу вам все, что поведал мне Друд той ночью, – правда, в сжатой форме, поскольку конечный пункт нашего маршрута уже показался впереди.

* * *

– Человек, известный нам под именем Друд, является сыном англичанина и египтянки. Отец, некий Джон Фредерик Форсайт, родился в прошлом веке, окончил Кембриджский университет и выучился на инженера-строителя, хотя подлинной его страстью всегда были географические исследования, приключения и литература. Это правда, Уилки, я проверял. Сам Форсайт писал и художественную прозу, и научные труды, но в настоящее время он памятен своими очерками о путешествиях. Инженерное образование Форсайт получал во Франции – по окончании Наполеоновских войн, разумеется, когда англичане смогли беспрепятственно вернуться туда, – и там он свел знакомство с различными учеными, участвовавшими в египетской экспедиции Наполеона. Их рассказы возбудили в нем страстное желание посетить Египет и своими глазами увидеть всю тамошнюю экзотику – сфинкса, подвергшегося обстрелу французской артиллерии и в результате лишившегося носа, фараоновы пирамиды, местных жителей, древние города – и да, женщин. Форсайт был молод и холост, и рассказы французов о закутанных в чадру обольстительных магометанках с подведенными сурьмой

глазами воспламенили в нем мечту о чем-то большем, нежели просто путешествие в далекую страну.

Через год Форсайт завербовался в Египет в составе английской строительной фирмы, заключившей подрядный контракт с французской компанией, которая принадлежала одному парижскому знакомому Чарльза Фредерика Форсайта и работала на молодого правителя Египта, Мехмета Али. Именно Али первым попытался внедрить в Египте европейские технические достижения и новшества.

Как профессионал, Форсайт был потрясен инженерным гением древних египтян, явленным в пирамидах, руинах колоссальных сооружений и оросительных сетях по берегам Нила. Как искатель приключений, молодой человек остался в восторге от Каира и прочих египетских городов, а равно от экспедиций к удаленным руинам и местам археологических раскопок выше по течению Нила. Как мужчина, Форсайт удостоверился, что французы несколько не грешили против истины, рассказывая об обольстительности египтянок.

В первый же год своего пребывания в Каире Форсайт познакомился с молодой египетской вдовой, впоследствии ставшей матерью Друда. Она жила поблизости от квартала, где в массе своей обретались европейские инженеры и прочие иностранные подрядчики, говорила по-английски, происходила из знатного и старинного александрийского рода (ее покойный муж занимался торговлей в Каире) и посещала званые обеды и вечеринки, устраивавшиеся английской строительной фирмой. Звали эту женщину Амиси, что в переводе означает «цветок», и многие англичане, французы и египтяне говорили Форсайту, что своей неброской красотой она в полной мере заслуживает такое имя.

Несмотря на существовавшее среди мусульман предубеждение против европейцев и христиан, ухаживание за молодой вдовой оказалось делом нехитрым – несколько раз Амиси «случайно» показала Форсайту свое лицо близ купальни, где собирались местные женщины, каковой жест традиционно означал молчаливое согласие на помолвку, – и вскоре они поженились по мусульманскому закону без всяких затейливых церемоний. Собственно говоря, для скрепления брачных уз потребовалась одна-единственная фраза, тихо произнесенная будущей матерью Друда.

Мальчик, ныне известный нам под именем Друд, появился на свет через десять месяцев. Отец нарек новорожденного сына Джаспером, каковое имя ничего не говорило матери, соседям, а впоследствии и сверстникам бедного малого, взявшим за обыкновение избивать полукровку, точно наемного мула. Почти четыре года Форсайт воспитывал из ребенка будущего английского джентльмена, требовал, чтобы все в доме разговаривали исключительно по-английски, занимался с сыном в свободное время и заявлял, что тот получит образование в лучших учебных заведениях Англии. Амиси не имела права голоса в данном вопросе. Но – к счастью для юного Джаспера Джона Форсайта-Друда – большую часть времени отец отсутствовал дома, работая на разных строительствах вдали от Каира, жены и сына. На улицу юный Джаспер Джон Форсайт выходил всегда в дрянной одежке – Амиси понимала, насколько важно, чтобы все соседи, стар и млад, не имели представления о материальном благополучии маленького Джаспера. Товарищи по играм и даже взрослые египтяне запросто могли бы убить светлогожего мальчонку, когда бы узнали об огромных доходах его отца.

Потом, повинаясь такой же внезапной прихоти, по какой он в свое время очутился в Египте, Чарльз Фредерик Форсайт закончил свою работу в этой стране и вернулся в Англию, чтобы начать новую жизнь. Он оставил жену-мусульманку и сына-полукровку, не потрудившись даже написать письмо со словами сожаления.

Мать Друда теперь оказалась покрыта двойным позором: во-первых, она вышла замуж за неверного, во-вторых, он ее бросил. Друзья, соседи и родственники винили бедняжку в обеих трагедиях. Однажды возле женской купальни несколько египтян с закрытыми шарфами лицами напали на Амиси, уволокли прочь и заставили предстать перед судом в составе

других безликих мужчин, после чего приговор суда был приведен в исполнение: несчастную провезли на осле по улицам под конвоем местных полицейских, а потом забили насмерть камнями – расправу вершила разъяренная толпа мужчин, а женщины в черных чадрах с удовлетворением наблюдали за казнью с крыш и балконов, испуская одобрительные крики.

Но когда полицейские явились в бывший дом Форсайта в старом квартале, чтобы схватить сына убитой женщины, мальчика там не оказалось. Слуги, соседи и родственники утверждали, что знать не знают, где он. В домах у них провели обыски, но нигде не обнаружили и следа ребенка. Все его игрушки и одежда остались на своих местах, словно мальчик просто вышел во двор и был унесен в небо или утащен в реку богами. Полицейские решили, что какой-нибудь доброжелательный сосед или слуга, прослышав о казни Амиси, велел четырехлетнему Джасперу бежать и малец выбрался из города в пустыню, где и погиб.

Но дело обстояло иначе.

Видите ли, Уилки, богатый и влиятельный дядя Амиси, александрийский торговец коврами по имени Амун, – он души не чаял в своей племяннице и премного опечалился, когда она уехала в Каир с первым мужем, а впоследствии опечалился еще сильнее, узнав о ее браке с неверным, – тоже прослышал, что англичанин бросил Амиси, и отправился в Каир с намерением уговорить бедняжку вернуться в Александрию вместе с ребенком. Амун, чье имя в переводе означает «скрытый от всех», был уже почти стариком, но имел молодых жен. Днем он торговал коврами, а по ночам отправлял обязанности жреца в одном из тайных храмов древней религии – языческой домусульманской религии, которую исповедовали египтяне, пока не приняли магометанство под угрозой кривых сабель. И он твердо решил убедить племянницу перебраться вместе с сыном к нему в Александрию.

Амун опоздал всего на час. Прибыв в старый квартал к моменту казни племянницы, но не имея никакой возможности остановить расправу, он поспешил к дому Амиси – все слуги там предавались полуденному сну, а соседи увлеченно наблюдали за побиванием несчастной камнями, – похитил из кровати юного Джаспера Джона Форсайта и немедленно покинул Каир, увозя с собой крохотного мальчика, что сидел в седле позади него, крепко обхватив за пояс обеими руками. Четырехлетний малыш не знал, что мать погибла, а Амун приходится ему двоюродным дедом, и в детском своем страхе вообразил, будто он похищен пустынным разбойником. Старик и маленький мальчик на белом жеребце галопом вылетели за ворота Каира и поскакали во весь опор по дороге, ведущей в Александрию.

В родном городе, в своем огромном доме, который укрывался за стенами не хуже крепостных и охранялся хорошо вооруженными стражами из родного клана, собратьями-жрецами и александрийскими наемными убийцами из числа преданных сторонников, дядя Амун принял Джаспера как собственного сына и навсегда сохранил происхождение мальчика в тайне от всех. На следующее утро после прибытия в Александрию, когда юный Джаспер Джон Форсайт проснулся в незнакомом окружении, дядя Амун отвел его к скотному загону и велел выбрать козла. Маленький Друд отнесся к делу с чрезвычайной серьезностью, на какую способно только четырехлетнее дитя, и по длительном раздумье указал на самого крупного белого козла с шелковистой шерстью и глазами ну прямо как у дьявола: с вертикальными зрачками. Дядя Амун улыбнулся, кивнул, велел мальчику вывести козла из загона, а потом отвел блеющее животное и довольного Джаспера в закрытый для посторонних внутренний двор в самой глубине огороженной территории. Там дядя Амун, уже не улыбаясь, вынул из-за пояса длинный кривой кинжал, вручил малышу и сказал: «Этот козел – единственное, что осталось от мальчика, в прошлом звавшегося Джаспером Джоном Форсайтом, сына неверного англичанина Джона Форсайта и опозоренной женщины по имени Амиси. Джаспер Джон Форсайт умрет здесь и сейчас, и никто никогда впредь не произнесет ни одно из этих имен – ни ты сам, под страхом смерти, ни любой другой человек, под страхом смерти».

Затем дядя Амун положил сильную руку на ручонку маленького Джаспера Джона, сжимавшую эфес кинжала, и одним быстрым движением перерезал козлу глотку. Животное забилося в конвульсиях и в считанные секунды испустило дух. Кровь забрызгала белые штанишки и рубашку четырехлетнего ребенка. «Отныне тебя зовут Друд», – промолвил дядя Амун.

Это было не традиционное имя, принятое в роду Амуна, и даже не обычное египетское, Уилки. Значение его давно затерялось во мгле веков, во мраке времен, окутывающем истоки древнего языческого культа.

В последующие годы дядя Амун ввел мальчика в тайный мир, где обитал он сам и многие его знакомые. При свете дня они были магометанами – маленький Друд учил наизусть Коран и молился по пять раз на дню, как положено праведному приверженцу ислама, – а по ночам Амун и другие александрийцы из тайного общества чтили Старый Закон, поклонялись древним богам и отправляли древние религиозные ритуалы. Вместе со своим дядей и остальными жрецами Друд при свете факелов проникал в недра пирамид и спускался в подземные храмы, расположенные под святынями вроде Сфинкса. Еще не достигнув подросткового возраста, маленький Друд совершал с дядей и прочими жрецами путешествия в Каир, на остров Филе, к руинам древних некрополей на берегу Нила в Верхнем Египте и в долину, где давным-давно опочившие египетские короли (они называются фараонами, как вы наверняка помните, Уилки) покоятся в гробницах, вырубленных в каменном ложе и окрестных скалах.

В тех потаенных местах процветала древняя египетская религия и многотысячелетнее сокровенное знание. Там мальчик Друд был посвящен в тайны языческого культа и обучен ритуалам, которые отправлял еще Моисей.

Дядя Амун обладал глубокими познаниями в сакральных целительских науках. Он являлся верховным жрецом храмов Сна, посвященных Исиде, Осирису и Серапису, и подготовил Друда на такую же должность. Так называемый целительный сон, дорогой Уилки, известен египтянам и практикуется среди них уже свыше десяти тысяч лет. Жрецы, способные вводить людей в такой сон, обретали полную власть над своими пациентами. Сегодня мы называем подобную практику научным термином «месмеризм», а состояние человека, погруженного в чудодейственный сон, – магнетическим трансом.

Как вам известно, Уилки, я сам обладаю известными способностями (а по мнению иных, так и редким даром) в искусстве месмеризма. Я рассказывал вам о своих занятиях с профессором Джоном Эллиотсоном в клинике при университетском колледже в Лондоне, о собственных исследованиях данного феномена и о том, как несколько лет назад, в Италии и Швейцарии, я в течение многих месяцев лечил животным магнетизмом бедную, одержимую видениями мадам де ля Рю – по настоятельной просьбе ее мужа. Уверен, я бы полностью исцелил бедняжку, когда бы в дело не вмешалась Кэтрин, обуянная безумной и беспочвенной ревностью.

Друд сказал, что признал во мне обладателя магнетической силы сразу, как только увидел меня на береговом откосе над местом чудовищной Стейплхерстской катастрофы. По словам Друда, он распознал во мне сей богоданный дар с первого взгляда, как в свое время дядя Амун распознал скрытые способности в нем самом, когда он был четырехлетним мальчонкой.

Но я отвлекся от повествования.

Все годы отрочества и юношества Друд совершенствовал свой талант, постигая тайное знание древних египтян. Известно ли вам, к примеру, Уилки, что, по свидетельству авторитетного историка Геродота, великий фараон Рамзес, владыка всего Египта, однажды безнадежно заболел и – по выражению самого Геродота, а равно дяди и учителей Друда – «сошел в царство мертвых»? Но впоследствии Рамзес вернулся в земной мир полностью исцелен-

ным. Чудесное возвращение фараона праздновалось на протяжении многих тысячелетий и по сию пору празднуется в Египте, где ныне господствует ислам. И знаете ли вы, Уилки, благодаря чему Рамзес столь чудесным образом вернулся из темного царства мертвых?

Здесь Диккенс сделал эффектную паузу, и по прошествии нескольких долгих секунд мне пришлось сказать:

– Не знаю.

– Благодаря месмерическому магнетизму, – возгласил Неподражаемый. – По ходу ритуального действия, проведенного в храме Сига, Рамзес погрузился в гипнотический сон, в котором он умер как человек, а потом усилиями жрецов был возвращен к жизни – полностью исцеленным и уже превосходящим смертную природу.

Тацит рассказывает нам о знаменитом храме Сна в Александрии. Именно там молодой Друд по ночам постигал сокровенное знание и в конечном счете в совершенстве освоил древнее искусство магнетического воздействия.

Той ночью в храмоподобной библиотеке Подземного города Друд поведал мне, показав соответствующие пергаменты и книги, что в свое время Плутарх говорил о некоем дурманном благовонии под названием «кифи», использовавшемся в храмах Исиды и Осириса для погружения людей в целительный и одновременно ясновидческий сон. Оно применяется даже в наше время – Друд дал мне нюхнуть из открытого флакончика, Уилки! – для введения в месмерический транс наравне с музыкой лиры. Пифагорейцы в своих тайных ритуалах, проводимых в пещерах и храмах, тоже использовали кифи и лиру, поскольку они, вслед за древними египтянами, верили, что под воздействием магнетической силы, правильно приложенной, душа может покидать телесную оболочку и вступать в связь со спиритуальным миром.

Не смотрите на меня так, дорогой Уилки. Вы знаете: я не верю в простых призраков и духов, являющихся на сеансах столоверчения. Сколько раз я разоблачал подобные суеверия устно и письменно? Но я сведущ в животном магнетизме и надеюсь в самом скором времени углубить свои познания в данной области.

Согласно Геродоту и Клименту Александрийскому, нижеследующая молитва в сочетании с месмерическим воздействием на покойного неизменно применялась на всех важных египетских похоронах на протяжении десяти тысяч лет: «О боги, дающие жизнь людям, явите милость к душе опочившего, дабы она могла уйти к бессмертным богам».

Но некоторые души жрецы не отпускали. Некоторые души они удерживали своей магнетической силой и возвращали обратно. Так было в случае с фараоном Рамзесом. Так было в случае с человеком, известным нам с вами под именем Друд.

* * *

Диккенс остановился, и я тоже. До Гэдсхилла оставалось уже меньше полумили, хотя мы шли несколько медленнее обычного. Признаться, завороченный монотонным голосом Чарльза Диккенса, последние двадцать минут я не замечал ничего вокруг.

– Вы находите все это скучным? – спросил он, устремив на меня пытливый взгляд темных глаз.

– Глупый вопрос, – сказал я. – Все это чрезвычайно увлекательно. И в высшей степени фантастично. Не каждому и не каждый день выпадает удовольствие услышать сказку тысячи и одной ночи из уст Чарльза Диккенса.

– Фантастично, – повторил Неподражаемый с едва заметной улыбкой. – По-вашему, это слишком фантастично, чтобы быть правдой?

– Чарльз, вы спрашиваете меня, верю ли я, что Друд рассказал вам правду, или верю ли я, что вы рассказали мне правду?

– И первое, и второе, – ответил он, не сводя с меня пристального взгляда.

– Не знаю, сказал ли Друд хоть слово правды, – промолвил я. – Но я верю, что вы говорите чистую правду, рассказывая историю, поведенную вам Друдом.

Я лгал, дорогой читатель. История казалась слишком абсурдной, чтобы я поверил в нее или хоть на миг допустил, что Диккенс в нее поверил. Я помнил, как однажды Диккенс сказал мне, что в детстве его любимой книгой были «Сказки тысячи и одной ночи». И сейчас задался вопросом, не пробудились ли в нем некие детские качества от потрясения, вызванного Стейплхерстской катастрофой.

Диккенс кивнул, словно учитель, услышавший правильный ответ от ученика.

– Мне нет необходимости напоминать вам, друг мой, что все это должно остаться между нами.

– Разумеется.

Он улыбнулся почти по-мальчишески:

– Даже если наш друг инспектор Филд грозитя разболтать всему свету про Домовладелицу и Дворецкого?

Я небрежно махнул рукой.

– Но вы не рассказали про Друда самого главного, – заметил я.

– Разве?

– Да, – твердо промолвил я. – Не рассказали. Почему он оказался на месте железнодорожного крушения? Откуда там взялся? Что он делал с тяжелоранеными людьми? Помнится, вы говорили, что со стороны все выглядело так, будто Друд похищал души умирающих. И что, собственно говоря, он делает в пещере у протекающей по туннелю подземной реки, глубоко под катакомбами?

– Поскольку до дома уже рукой подать, – начал Диккенс, вновь трогаясь с места, – я не стану продолжать повествование, а просто отвечу на ваши вопросы, дорогой Уилки. Во-первых, Хэчери оказался прав в своих умозаключениях и предположениях насчет появления Друда на месте крушения. Он действительно путешествовал в гробу в багажном вагоне.

– Боже милостивый! – воскликнул я. – Но почему?

– Все, как мы и думали, Уилки. В Лондоне и прочих городах Англии у Друда есть враги, исполненные решимости выследить и схватить его. Инспектор Филд – один из таких врагов. Друд не является ни подданным нашей страны, ни желанным чужеземным гостем. На самом деле, по официальному мнению и по официальным документам, он уже двадцать лет как умер. Потому-то он и возвращался в гробу из поездки по Франции... где встречался с братьями по религии, владеющими искусством магнетизма.

– Поразительно, – сказал я. – Но что насчет странного поведения Друда на месте катастрофы? Вы сами рассказывали, как он подкрадывался и склонялся над ранеными, которые все оказывались мертвыми, когда вы подходили к ним после него. «Похищал души», по вашему же выражению.

Диккенс улыбнулся и, взмахнув тростью, точно мечом, обезглавил росток чертополоха.

– Это показывает, сколь глубоко может ошибаться даже самый умный и зоркий наблюдатель, если не знает всех обстоятельств дела. Друд вовсе не похищал души несчастных жертв катастрофы. Напротив, он воздействовал на страдальцев месмерической силой, дабы облегчить предсмертные муки, и произносил древнюю египетскую погребальную молитву, призванную помочь при переходе в мир иной, – молитву эту я процитировал вам несколько минут назад. Друд действовал на манер католического священника, проводящего соборование перед смертью. Только он проводил месмерические обряды культа Сна, твердо веря, что таким образом отправляет души погибших на суд к богам, которым они поклонялись при жизни.

– Поразительно, – повторил я.

– А что касается обстоятельств его жизни здесь, в Англии, и причин нынешнего его проживания в Подземном городе, – продолжал Диккенс, – то рассказ инспектора Филда о прибытии Друда в Англию, об ограблении, матросе, ноже и всем прочем почти полностью соответствует истине. Только с точностью до наоборот. Двадцать с лишним лет назад Друд приехал в Англию с заданием разыскать двух своих родственников из Египта – близнецов, юношу и девушку, владевших другим древним египетским искусством – умением читать мысли. Он имел при себе огромную сумму денег в английских фунтах и золотых монетах.

На следующий же вечер после приезда в Лондон Друда ограбили. Английские матросы напали на него в припортовом квартале, обчистили, зверски исполосовали ножом – именно тогда он лишился век, ушей, носа и кончика языка – и бросили в Темзу, словно труп... да он, собственно, и был тогда почти трупом. Какие-то обитатели Подземного города вытащили Друда из реки и перенесли вниз – умирать. Но он не умер, Уилки. А если и умер, так, значит, вернул себя к жизни. Когда неизвестные бандиты грабили его, избивали и резали ножом, Друд погрузился в глубокий месмерический сон и привел свою душу – или по крайней мере свое психическое существо – к тонкой грани между жизнью и смертью. Оборванцы из Подземного города нашли бездыханное тело, но при звуке человеческих голосов Друд очнулся от магнетического сна таким же усилием воли, каким ввел себя в месмерический транс. Чтобы отблагодарить своих спасителей, Друд построил в подземном «муравейнике» храм Сна, совмещенный с библиотекой, где он исцеляет тех, кого может исцелить, помогает тем, кому может помочь посредством древних обрядов, облегчает предсмертные муки и переход в мир иной тем, кого уже нельзя спасти.

– Послушать вас, так он просто святой, – сказал я.

– В известном смысле так оно и есть.

– А почему он просто не уедет в Египет? – спросил я.

– О, он туда ездит, Уилки. Время от времени. Чтобы повидаться со своими учениками и коллегами. Помочь с отправлением некоторых древних ритуалов.

– Но он все время возвращается в Англию? До сих пор?

– Он пока так и не нашел своих родственников, – сказал Диккенс. – И Англия для него уже стала такой же родиной, как Египет. В конце концов, он ведь наполовину англичанин.

– Даже несмотря на убийство козла, носившего его английское имя?

Диккенс промолчал.

– По утверждению инспектора Филда, ваш мистер Друд – целитель, великий знаток месмеризма, праведник почище Христа и тайный мистик – за последние двадцать лет убил свыше трехсот мужчин и женщин.

Я ожидал, что Неподражаемый рассмеется. Но он хранил все тот же серьезный вид и все так же пристально смотрел на меня.

– А вы сами-то верите, что человек, с которым я разговаривал, повинен в трехстах убийствах?

Я выдержал взгляд Диккенса и ответил взглядом равно непоницаемым.

– Возможно, он гипнотизирует своих приспешников и заставляет их выполнять всю грязную работу, Чарльз.

Теперь он все-таки улыбнулся:

– Вы наверняка знаете, друг мой, – из научных трудов профессора Джона Эллиотсона, если не из собственных моих случайных заметок по данному предмету, – что даже в состоянии месмерического сна, или месмерического транса, человек не может совершить никаких поступков, противоречащих его нравственным нормам и принципам.

– В таком случае, возможно, Друд гипнотизирует убийц и головорезов и они совершают для него все убийства, – предположил я.

– Если они уже убийцы и головорезы, дорогой Уилки, – мягко промолвил Диккенс, – Друду нет никакой необходимости гипнотизировать их, не правда ли? Он может просто заплатить им звонкой монетой.

– Так, может, он и платит, – сказал я.

Наш разговор приобретал до невыносимости абсурдный характер. Я окинул взглядом широкий луг, словно мерцающий в свете осеннего солнца. За деревьями впереди я явственно различал маленькое шале и мансардную крышу Гэдсхилл-плейс.

Я положил ладонь на плечо Неподражаемому, пока он еще не тронулся с места, и спросил:

– Так вы ездите по ночам в Лондон раз-два в неделю, чтобы совершенствовать свои познания и способности в месмеризме?

– А... значит, в моем семейном кругу все-таки есть соглядатай. Некто, часто страдающий несварением желудка, насколько я понимаю?

– Нет, мой брат здесь ни при чем, – довольно резко сказал я. – Чарльз Коллинз умеет хранить секреты и бесконечно вам предан. И однажды он станет отцом ваших внуков. Вам следует относиться к нему более уважительно.

По лицу писателя пробежала тень. Похоже, тень отвращения – хотя я так и не понял, вызвано оно мыслью о женитьбе моего брата на Кейт (каковой союз Неподражаемый никогда не одобрял) или же сознанием, что сам он, Диккенс, уже достаточно стар, чтобы иметь внуков.

– Вы правы, Уилки. Прошу прощения за шутку, пусть и продиктованную теплым родственным чувством. Но тихий внутренний голос говорит мне, что я так и не дожусь внуков от брака Кейти Диккенс с Чарльзом Коллинзом.

Что он, собственно, имел в виду? Пока мы не сцепились в драке или не продолжили путь в тягостном молчании, я сказал:

– О ваших еженедельных поездках в город мне сообщила Кейти. Она, Джорджина и ваш сын Чарльз тревожатся за вас. Они понимают, что страшные воспоминания о железнодорожном крушении все еще преследуют вас и пагубно действуют на ваши нервы. Сейчас они подозревают, что я вовлек вас в какое-то дикое непотребство, творящееся в лондонских злачных местах, и теперь по меньшей мере раз в неделю вас, извиняюсь за выражение, самым магнетическим образом тянет к ночным бесчинствам.

Диккенс громко расхохотался, запрокинув голову:

– Да бросьте, Уилки! Если у вас нет никакой возможности задержаться до ужина, составленного Джорджиной из самых изысканных блюд, вы по крайней мере должны выкурить со мной сигару, обозревая конюшни и наблюдая за Джоном Форстером, играющим с моими детьми на лужайке. Потом маленький Плорн запряжет двуколку и отвезет вас на станцию прямо к вечернему экспрессу.

* * *

Навстречу нам выбежали собаки.

Диккенс почти всегда держал у ворот собак на цепи, так как слишком много разных бродяг и грязных оборванцев имели обыкновение сворачивать с Дуврской дороги и выклянчивать дармовые подачки у задней или передней двери Гэдсхилл-плейс. Первой нас встретила Миссис Поскакушка – любимица Мэри, крохотный померанский шпиц, с которым Диккенс неизменно разговаривал особым детским, почти писклявым голосом. Через секунду подлетела Линда – неугомонный, непоседливый сенбернар, вечно занятый игривой борьбой с огромным мастифом по кличке Турок. Все трое в совершенном экстазе прыгали, норовили лизнуть в лицо, бешено виляли хвостом, приветствуя своего хозяина, на удивление хорошо

ладившего со всеми животными. Казалось, как и многие люди, собаки и лошади понимали, что Чарльз Диккенс поистине Неподражаемый и посему заслуживает всяческого уважения.

Пока я пытался потрепать по голове сенбернара, приласкать резвящегося мастифа и обойти прыгучего шпица, которые все через каждые несколько секунд отскакивали прочь от меня и снова набрасывались со своими изъятиями восторга на Диккенса, из-за живой изгороди вихрем вылетел незнакомый мне пес, крупный ирландский волкодав, и с угрожающим рычанием помчался на меня, словно с намерением перегрызть мне горло. Признаться, я поднял трость и попятился.

– Стоять, Султан! – гаркнул Диккенс, и пес сначала застыл на месте всего в нескольких шагах от меня, потом припал к земле с самым виноватым и покорным видом. Диккенс укоризненным тоном выговорил злодею, а затем почесал у него за ухом.

Я подступил ближе, и волкодав злобно заворчал, опять оскалив клыки. Диккенс перестал ласкать пса. Султан виновато опустил на брюхо и уткнулся носом в башмаки хозяина.

– Я впервые вижу эту собаку, – заметил я.

Диккенс тряхнул головой:

– Перси Фицджеральд подарил мне Султана всего несколько недель назад. Честно говоря, иногда этот пес напоминает мне вас, Уилки.

– Чем же, интересно знать?

– Во-первых, он абсолютно бесстрашен, – сказал Диккенс. – Во-вторых, он абсолютно предан... слушается только меня одного, и слушается беспрекословно. В-третьих, он презирует общественное мнение и нисколько с ним не считается. Он ненавидит солдат и нападает на них, едва лишь приметит. Он ненавидит полицейских и, говорят, гонялся за несколькими здесь по аллее. И он ненавидит всех себе подобных.

– Я не питаю ненависти к себе подобным, – мягко промолвил я. – Я в жизни не нападал ни на одного солдата и никогда не гонялся за полицейскими.

Явно не слушая меня, Диккенс опустился на колени и потрепал Султана по загривку, в то время как остальные три собаки прыгали и скакали вокруг него, снедаемые лютой ревностью.

– Султан лишь единственный раз попытался проглотить Миссис Поскакушку, но имел любезность выплюнуть ее по первому же моему приказу. Однако все кошки в округе – в частности, последний помет Кисули, что живет в сарае за гостиницей «Фальстаф-Инн», – таинственным образом пропали после появления здесь Султана.

Султан пристально посмотрел на меня, взглядом своим недвусмысленно давая понять, что перегрызет мне глотку при первой же удобной возможности.

– Но боюсь, невзирая на его преданность, дружелюбие, отвагу и забавные повадки, – заключил Диккенс, – нашего друга Султана однажды придется умертвить, и сделать это придется мне.

* * *

Вернувшись вечерним поездом в Лондон, я отправился не пешком домой на Мелкомб-плейс, а взял кеб до Болсовер-стрит, тридцать пять. Там мисс Марта Р***, записанная в домовую книгу под именем миссис Марта Доусон, встретила меня у задней отдельной двери, ведущей прямо в скромные апартаменты, которые состояли из крохотной спальни, гостиной чуть побольше и зачаточной кухонки. Я прибыл несколькими часами позже, чем обещался, и она уже давно прислушивалась, не раздадутся ли мои шаги на лестнице.

– Я нажарила котлет и все держу на медленном огне, – сказала Марта. – На случай, если вам захочется поужинать сейчас же. Или разогрею их позже.

– Да, разогреешь позже, – сказал я.

Дорогой читатель отдаленного будущего, я почти могу – не вполне, но почти – вообразить такое время, когда мемуаристы или даже романисты не опускают завесу целомудренного молчания над событиями личного характера, какие могут последовать здесь, над интимными, так сказать, моментами отношений между мужчиной и женщиной. Надеюсь, в вашу эпоху нравы не настолько испорчены, что вы свободно говорите и пишете о минутах телесной близости, но если вы ждете подобных бесстыдных откровений здесь, мне придется разочаровать вас.

Когда бы вам довелось увидеть фотографию мисс Марты Р***, наверное, вы при всем желании не разглядели бы красоты, какую я нахожу в ней при каждой нашей встрече. Постороннему взгляду или объективу фотокамеры (а Марта говорила, что у нее есть фотопортрет, сделанный с нее за родительский счет год назад, когда ей стукнуло девятнадцать) Марта Р*** представляется приземистой женщиной с угрюмым узким лицом, почти негроидными губами, прямыми волосами, разделенными на прямой пробор и туго зачесанными назад (так туго, что пробор производит впечатление длинной узкой плеши посреди макушки), глубоко посаженными глазами и слегка приплюснутым носом, приличествующим скорее сборщице хлопка на южноамериканской плантации.

Фотография Марты Р*** не дает ни малейшего представления об ее пылкости, страстности, чувственности, телесной щедрости и необузданности. Многие женщины (с одной из таких я сожительствую уже много лет) весьма убедительно изображают чувственность на людях, особым образом одеваясь, искусно раскрашивая лицо, кокетливо хлопая ресницами, но в действительности они почти или совсем не ведают плотского желания. Думаю, они прикидываются единственно по привычке. Очень и очень немногие женщины – такие, как Марта Р***, – обладают поистине страстной натурой. Найти подобную женщину среди толпы полусонных, вялых, апатичных особей женского пола в английском обществе шестидесятых годов девятнадцатого века – все равно что найти даже не алмаз в уличной грязи, а теплое живое тело среди холодных трупов на мраморных столах в парижском морге, куда Диккенс любил водить меня.

* * *

Через несколько часов, сидя при свечах за маленьким столом, накрытым для ужина, мы ели пережаренные котлеты (Марта еще не научилась хорошо готовить, и представлялось очевидным, что никогда не научится) и ковырялись вилками в холодном, пересушенном овощном рагу. К моему приезду Марта выбрала и купила бутылку вина – такого же скверного, как еда.

Я взял девушку за руку и сказал:

– Дорогая, завтра с утра пораньше ты должна упаковать свои вещи и уехать в Ярмут одиннадцатичасовым поездом. Там ты вернешься на прежнюю работу в гостинице, а если не получится – найдешь другое такое же место. Не позже чем завтра вечером ты наведишь своих родителей и брата в Уинтертоне и скажешь, что у тебя все в полном порядке и что ты потратила свои сбережения на развлекательную поездку в Брайтон.

Марта, надо отдать ей должное, не стала хныкать и разводить мокроту. Но она покусала губы и промолвила:

– Мистер Коллинз, голубчик, я чем-то обидела вас? Дело в ужине?

Несмотря на усталость и подагрические боли в глазах и суставах, я рассмеялся:

– Нет-нет, дорогая моя. Просто тут один сыщик вертится вокруг, вынюхивает да высматривает, и нам нельзя давать ему повод шантажировать меня – или тебя и твою семью, милая. Нам надо ненадолго расстаться, пока докучливому малому не надоест эта игра.

– Полицейский! – воскликнула Марта.

Несмотря на свою замечательную выдержку, она все же оставалась бедной провинциалкой. Полиция, особенно лондонская полиция, наводила ужас на людей такого сорта.

Я успокоительно улыбнулся:

– Да нет, нет. Он давно уже не полицейский, милая моя. Просто частный сыщик низкого пошиба, каких нанимают престарелые лорды, часто отсутствующие дома по благотворительным делам, для слежки за своими молодыми женами.

– И нам надобно расстаться?

Марта окинула взглядом комнату, и я понял, что она старается запечатлеть в памяти убогие предметы обстановки и унылые эстампы на стенах, словно какая-нибудь особа королевских кровей, изгоняемая из своего родового замка.

– Ненадолго, – повторил я, ласково похлопав девушку по руке. – Я разберусь с назойливой ищейкой, а потом мы заново составим наши планы. На самом деле комнаты так и останутся записаны на имя миссис Доусон – до скорого твоего возвращения. Ты хочешь этого?

– Очень даже хочу, мистер... Доусон. Вы сегодня проведете ночь со мной? Последнюю ночь перед разлукой?

– Никак не получится, голубушка. Нынче у меня подагра разыгралась не на шутку. Мне надо домой – принять лекарство.

– Ах, как жаль, что вы не держите бутылку с лекарством здесь, дорогой мой, чтобы оно облегчало ваш недуг, покуда я ублажаю и успокаиваю вас иным способом!

Марта сжала мою ладонь так сильно, что боль прострелила мне руку до самого плеча. В глазах у нее стояли слезы, и я знал, что она расстроена моим плохим самочувствием, а не своим изгнанием. У Марты Р*** была сострадательная душа.

– Одиннадцатичасовой поезд, – напомнил я, надев пальто и положив шесть шиллингов банкнотами и монетами на туалетный столик. – Только смотри не оставляй здесь никаких своих вещей, любимая моя. Доброго тебе пути – и я вскорости пришлю весточку.

* * *

Четырнадцатилетняя Хэрриет спала в своей комнате, но Кэролайн еще бодрствовала, когда я прибыл домой по адресу Мелкомб-плейс, девять.

– Ты голоден? – спросила она. – Мы ужинали телячьими отбивными, и я оставила несколько для тебя.

– Нет. А вот вина, пожалуй, выпью, – сказал я. – Сегодня меня подагра совсем замучила.

Я прошел на кухню, отпер свою личную кладовую ключом, извлеченным из жилетного кармана, залпом выпил три стакана лауданума и вернулся в гостиную, где Кэролайн уже налила хорошей мадеры в два бокала. Во рту у меня все еще оставался привкус дрянного винца, выпитого у Марты, и мне хотелось поскорее от него избавиться.

– Ну, как ты провел день с Диккенсом? – поинтересовалась Кэролайн. – Я не ожидала, что ты так поздно задержишься.

– Ты же знаешь, какую настойчивость он проявляет порой, приглашая на ужин, – сказал я. – Он не принимает никаких отказов.

– Вообще-то, не знаю, – сказала Кэролайн. – В обществе мистера Диккенса я всегда ужинала только с тобой вместе, причем либо у нас дома, либо в отдельном кабинете в ресторане. И меня он ни разу не уговаривал задержаться допоздна за своим столом.

Я не стал опровергать данное утверждение, соответствующее действительности. Ужасная, пульсирующая боль в голове уже начинала стихать под действием лауданума, и у меня возникло странное ощущение качки – словно гостиния, стол и кресло находились на борту крохотного суденышка, идущего в фарватере большого корабля.

– Ну так как, ты приятно провел время за разговорами с Диккенсом? – настойчиво осведомилась Кэролайн.

На ней был красный шелковый халат, слишком яркий, чтобы соответствовать представлениям о тонком вкусе. Мне чудилось, будто вышитые на нем золотые цветы дрожат и пульсируют.

– По-моему, Диккенс угрожал убить меня, если я не буду беспрекословно ему подчиняться, – сказал я. – Умертвить, как непослушного пса.

– Уилки! – В голосе Кэролайн прозвучал неподдельный ужас, и ее лицо в приглушенном свете лампы заметно побледнело.

Я натянуто рассмеялся:

– Да успокойся, дорогая моя. На самом деле ничего подобного не было, разумеется. Просто очередной пример, доказывающий склонность Уилки Коллинза к преувеличениям. Мы славно прогулялись и мило поболтали нынче днем, а позже насладились беседой за долгим ужином, бренди и сигарами. Там был Джон Форстер со своей новой женой.

– А, этот зануда.

– Да. – Я снял очки и потер виски. – Пожалуй, я пойду спать.

– Бедняжка, – сказала Кэролайн. – Тебе полегчает, если я разотру тебе мышцы?

– Думаю, очень даже полегчает, – ответил я.

Я не знал, где Кэролайн Г*** овладела искусством массажа. Я никогда не спрашивал. Это оставалось тайной, как и многие другие обстоятельства ее жизни до знакомства со мной, произошедшего двенадцать лет назад.

Но я прекрасно знал, какое наслаждение и облегчение доставляют мне руки моей сожительницы.

Примерно через полчаса, в моей спальне, Кэролайн, закончив разминать мне мышцы, прошептала:

– Мне остаться с тобой сегодня, милый?

– Лучше не надо, любимая. Приступ подагры еще не прошел – приятные ощущения идут на убыль, и боль возвращается, ты же знаешь... И мне непременно нужно поработать завтра с утра пораньше.

Кэролайн кивнула, чмокнула меня в щеку, взяла лампу с туалетного столика, вышла за дверь и спустилась вниз.

Я было подумал, не просидеть ли мне в кабинете за работой ночь напролет, как я частенько делал, когда писал «Женщину в белом» и более ранние сочинения, но тихий шорох, донесшийся с лестничной площадки второго этажа, заставил меня остаться в спальне. Зеленокожая клыкастая женщина становилась все смелее. Первые несколько месяцев после нашего переезда сюда она воздерживалась от прогулок по темной крутой лестнице для слуг, но в последнее время я все чаще слышал за полночь мягкие шаги босых ног по ковровому покрытию лестничной площадки.

Или же звуки доносились из моего кабинета. Это было бы еще страшнее: зайти туда в темноте и увидеть *его*, пишущего за моим рабочим столом в лунном свете.

Я остался в спальне. Подошел к окну и бесшумно раздвинул шторы. Возле фонаря на углу улицы я увидел мальчишку в лохмотьях, который сидел, привалившись спиной к мусорной урне. Возможно, он спал, а возможно, смотрел на мои окна. Его глаза скрывались в тени.

Я задвинул шторы и снова лег в постель. Иногда лауданум не дает мне уснуть всю ночь, а порой погружает в глубокий сон, полный ярких сновидений.

Я уже уплывал в сон, изгоняя из своего сознания Чарльза Диккенса и фантома по имени Друд, когда вдруг в ноздри мне ударил густой тошнотворный запах, похожий на смрад гнилого мяса, и перед умственным взором возникли алые герани – букеты, ворохи, надгробные

груды алых гераней, пульсировавших под моими сомкнутыми веками, точно фонтаны артериальной крови.

– Боже мой! – громко сказал я и рывком сел в темноте, исполненный поистине провидческой уверенности. – Чарльз Диккенс собирается убить Эдмонда Диккенсона.

Глава 10

На следующее утро, записав наш с Диккенсом вчерашний разговор, я в одиночестве позавтракал в своем клубе.

Накануне Диккенс несколько раз настойчиво спрашивал меня, верю ли я ему, но, по правде говоря, я не верил. Или верил не до конца. Я сомневался, что он встречался с человеком по имени Друд в лабиринте канализационных туннелей под Лондоном. Я видел подобие гондолы и двух странных типов, которых Диккенс называл Меркурием и Венерой, то есть один несомненный факт для начала имелся.

Но действительно ли я их видел? Я помнил, как подплыла лодка и Диккенс вошел в нее, помнил, как она скрылась за поворотом, приводимая в движение двумя диковинными субъектами в масках, гребцом на носу и рулевым на корме, или же мне все примстилось? Помимо безумной усталости и страха тогда мной владела сильная сонливость. Я принял лишнюю дозу лекарства перед встречей с Диккенсом, а за ужином выпил больше вина, чем обычно. Все события той ночи – даже происходившие прежде, чем мы спустились через склеп в опиумный притон Короля Лазаря, – казались нереальными, словно пригрезившимися во сне.

Но что насчет биографии мистера Друда в изложении Диккенса? А что насчет нее, собственно? Буйное воображение Чарльза Диккенса могло измыслить тысячи подобных сюжетов в считанные секунды. Честно говоря, история о детстве Друда, английском отце, убитой мусульманами матери казалась слабоватой для творческого гения Чарльза Диккенса.

Однако, как ни странно, именно часть истории, касавшаяся месмерических способностей и магнетической силы Друда, вызывала у меня желание в целом принять на веру рассказ Неподражаемого. Все это также объясняло, почему Диккенс, невзирая на нынешнюю свою паническую боязнь поездов и даже простых экипажей, по меньшей мере раз в неделю ездит в Лондон из Гэдсхилла.

Он стал учеником – или, возможно, точнее будет употребить слово «приспешник» – верховного магистра месмеризма по имени Друд.

* * *

Еще до безуспешной попытки Диккенса загипнотизировать меня, предпринятой вскоре после Стейплхерстской катастрофы, я знал, что наш друг начал увлекаться месмеризмом почти тридцать лет назад, когда он был известен читающей публике под псевдонимом Боз. В ту пору вся Англия живо интересовалась месмеризмом: мода на него пришла из Франции, где появился некий «магнетический мальчик», обладавший способностью в состоянии гипнотического транса угадывать положение стрелок на часовых циферблатах или значение игральных карт даже с крепко завязанными глазами. Тогда я еще не был знаком с Диккенсом, но он не однажды рассказывал мне, как посещал все до единого выступления месмеристов, проводившиеся в Лондоне. Но именно упомянутый Диккенсом профессор, некий Джон Эллиотсон из клиники при университетском колледже, произвел на молодого Боза самое сильное впечатление.

Посредством своей магнетической силы Эллиотсон погружал подопытных людей – в том числе пациентов лондонской клиники – в гораздо более глубокий транс, чем получалось у других месмеристов. В состоянии транса мужчины и женщины, мальчики и девочки не только исцелялись от хронических заболеваний, но и могли обнаруживать пророческие и даже ясновидческие способности. Страдавшие эпилепсией сестры Оки не только вставали с инвалидных колясок и с песнями пускались в пляс под гипнотическим воздействием

профессора Элиотсона, но также демонстрировали чудеса ясновидения – благодаря целенаправленному влиянию животного магнетизма, как твердо уверился молодой Боз. Иными словами, Диккенс был своего рода новообращенным.

Лишенный истинных религиозных убеждений, Диккенс свято поверил в животный магнетизм и месмерический дар, управляющий этой энергией. Прошу вас не забывать, дорогой читатель, об особенностях нашей эпохи: наука тогда делала огромные шаги в понимании таких скрытых, взаимосвязанных энергий и флюидов, как магнетизм и электричество. Истечение месмерических флюидов, свойственное всем живым существам, но в особенности человеческому мозгу и телу, представлялось Диккенсу таким же очевидным и наглядным научным фактом, как процесс получения электричества с помощью магнето, продемонстрированный Фарадеем.

В следующем, 1839 году, когда Эллиотсон оставил должность профессора теоретической и практической медицины в университетском колледже – под давлением начальства, недовольного шумихой вокруг его месмерических сеансов, – Диккенс публично поддерживал доктора, втайне ссужал деньгами, приглашал лечить своих родителей и прочих членов семьи, а несколькими годами позже всячески пытался помочь обезумевшему от отчаяния Эллиотсону, когда тот начал помышлять о самоубийстве.

Сам Диккенс, разумеется, никогда не позволял погружать себя в месмерический транс. Любой, кто хотя бы на минуту мог вообразить, будто Чарльз Диккенс способен поддаться магнетическому воздействию другого человека, совершенно не знал Чарльза Диккенса. Именно молодой Боз, который вскоре станет зрелым Неподражаемым, всегда стремился подчинять окружающих своему влиянию. Месмеризм стал просто одним из средств для достижения данной цели, но интерес к нему Диккенс сохранил до конца своих дней.

В скором времени писатель начал сам проводить месмерические опыты и сеансы магнетического лечения. Во время своей поездки в Штаты в 1842 году Диккенс рассказывал американским друзьям, что регулярно гипнотизирует Кэтрин, дабы исцелить от мигреней и бессонницы. (Много лет спустя он сказал мне, что применял животный магнетизм для снятия много широчайшего набора, как он выразился, «истерических симптомов», наблюдавшихся у его несчастной жены. Он также признался, что впервые загипнотизировал Кэтрин случайно: обсуждая феномен магнетического воздействия со знакомыми американцами и «выступая по теме весьма красноречиво», он принялся водить руками над головами слушателей и потирать им брови единственно с целью продемонстрировать магнетические пассы, какие сам наблюдал во время различных показательных сеансов, и внезапно ввел Кэтрин в состояние истерики. Он проделал еще несколько пассов, чтобы вернуть бедняжку в чувство, но добился лишь того, что она погрузилась в глубокий транс. На следующий вечер он снова использовал жену в качестве объекта опыта перед гостями, а вскоре стал лечить ее от «истерических симптомов».) По мере развития своих месмерических способностей он стал пользоваться не одну только Кэтрин, но также прочих своих родственников и друзей.

Но в случае с месмерическим лечением мадам де ля Рю дело дошло до семейного конфликта.

Мадам Августа де ля Рю, англичанка по происхождению, была супругой швейцарца Эмиля де ля Рю, директора генуэзского филиала банковской фирмы, основанной его дедом. Летом 1844 года Диккенс с женой приехал в Геную, собираясь работать там всю осень и зиму, и с октября месяца они непродолжительное время жили по соседству с четой де ля Рю и часто виделись с ними в узком экспатриантском кругу генуэзского общества.

Августа де ля Рю страдала расстройством нервов, которое выражалось в бессоннице, нервном тике, лицевых судорогах и сильнейших приступах тревоги, сопровождавшихся настоящими конвульсиями. В менее просвещенную эпоху бедную женщину сочли бы одержимой бесами.

Диккенс вызвался облегчить состояние мадам де ля Рю с помощью своих месмерических способностей, и Эмиль, муж несчастной, пришел в восторг от этой идеи. «Счастлив и готов явиться к вам», – объявил Диккенс в одной из записок к ней, и в течение следующих трех месяцев – с ноября 1844-го по конец января 1845-го – он навещал ее по нескольку раз на дню. Иногда на сеансах присутствовал ее муж. (Он героически пытался научиться у Диккенса искусству месмеризма, чтобы самостоятельно помогать жене, но – увы! – Эмиль де ля Рю не обладал даром магнетического воздействия.)

Главная тайна нервного недуга мадам де ля Рю заключалась в частых видениях некоего Фантома, что приходил к ней во снах и являлся первопричиной болезни. «Совершенно необходимо, – заявил Диккенс Эмилю де ля Рю, – чтобы Фантом, к которому она противно своей воле постоянно обращается мыслями, вновь не забрал власть над ней».

Дабы такого не случилось, Диккенс стал откликаться на призывы четы де ля Рю в любое время суток. Иногда он оставлял Кэтрин одну в холодной гнузской постели в четыре часа утра и опрометью неся к мадам де ля Рю, чтобы помочь своей бедной пациентке.

Постепенно судороги, нервные тики, конвульсии и бессонница начали отпускать ее. Эмиль ликовал. Тем не менее Диккенс по-прежнему каждый день гипнотизировал женщину и расспрашивал про Фантома. Со стороны месмерические сеансы, проводившиеся в особняке де ля Рю, очень походили на спиритические: погруженная в глубокий транс мадам де ля Рю рассказывала о темных и светлых духовных сущностях, кружащихся вокруг нее, и Фантоме, неизменно пытающемся подчинить ее своей власти, а Чарльз Диккенс героически старался выволить мадам де ля Рю из-под пагубного влияния злоумышленного призрака.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.